

Ксения ЧИЖИКОВА

Ксения Чижикова родилась в 1992 году, выросла в городе Дубна Московской области. Закончила Высшую школу экономики, работает менеджером проектов. Публиковалась в журнале «Память». Живет и работает во Франции.

ОБЫЧНАЯ ИСТОРИЯ

Повесть

*Посвящается Ф.
Like a rush of blood to the head!*

1

Меня зовут Константин. Как императора, да. Это первое, что я обычно говорю. С этого, наверное, и надо начать.

Вообще-то я не особенно планировал рассказывать эту историю, и уж точно не планировал рассказывать ее сам. Я из тех, кто обычно болтается на втором плане, мелькает в массовке. Уж точно не из тех, кто выходит на первые роли и хвастается перед зрителями своим мастерством рассказчика.

Так вот. Меня зовут Константин. Логично, не правда ли? Первым делом назвать свое имя. Надо же как-то обращаться. Эй, вы, – это долго не работает. Позвольте, подождите – это работает, но так уже никто не говорит. Помогите мне – так вообще никто не начинает фразу. И правильно делает. В нынешние дни никто не любит, когда их просят о помощи.

Шесть месяцев назад у меня умерла жена. Но история будет не совсем о ней – о ней, конечно, но не совсем. Если я начну говорить про нее, то надо рассказать, как мы познакомились. А я не хотел бы начинать с этого. Я хотел бы начать намного раньше.

Ее не стало. Я каждое утро езжу на работу на автобусе. Иногда, когда совсем хорошая погода, я хожу пешком и могу даже протрусить пару метров. Но это я перестал делать примерно тогда же, когда перестал воображать себя олимпийским бегуном и носить короткие беговые трусы. Они до сих пор лежат у меня где-то в глубине шкафа, но теперь я только хожу. Но чаще езжу. На автобусе.

Ее не стало шесть месяцев назад, но я только сейчас подумал, что жизнь – это автобус. Ты едешь-едешь, едешь-едешь, и рано или поздно будет твоя остановка. Ты можешь тешить себя надеждой, что остановки не будет. Но остановка будет. Кому, как не мне, об этом не знать. Или, пробыв долго на одной остановке, замерзнув и продрогнув до костей, потому что эти идиоты опять отменили весь транспорт – твой автобус вдруг приходит, и тебе, подобрав руками полы пальто, опять надо в него лезть. Даже если тебе нравилось на этой остановке. Даже если ты всю жизнь хотел бы остаться на этой остановке. Хотя я, положим, был не уверен, что хочу остаться на ней всю жизнь. Придется

дальше ехать в автобусе, одному, оглядываясь по сторонам, как будто ты отправился в кругосветное путешествие, отчалив прямо от дома. Или тебя отправили куда-то, и неизвестно, когда ты вернешься домой. Запоминать тебе дорогу? Или нет? Оставлять какую-нибудь вещь на память? Бросать монетку в реку? Стучать в окно, чтобы помнили - ведь, когда вернешься, ты тоже однажды ночью постучишь? Или никуда не стучать, не оборачиваться? А просто ехать и смотреть вперед?

Многовато вопросов для одного автобуса. К тому же такого вонючего, как этот.

Мне теперь надо ехать в автобусе одному. Оглядываясь, вытягивая шею из рубашки, на которую я, чуть было, пока гладил, не поставил пятно. Сложить руки на коленях. Я забрался сюда, сгорбив спину, забрался и даже нашел свободное место.

Автобус продолжает свое движение. Я слегка подпрыгиваю на месте. Я сижу тут.

2

Меня назвал отец. Конечно же. Моей матери, вечно суетящейся по любому поводу, мое укорененное в римских императорах гордое имя не очень нравилось. Не вязалось с орущим младенцем, потому что отец называл меня не иначе как Константин. С самого рождения. Константин снова волнуется (так он называл мои ночные просыпания). Константин хочет еды. Константин опять орал. Константин меня разочаровывает. Я не допущу, чтобы у нас рос тупой ребенок. Да он не тупой, дорогой, он просто не понимает. Надеюсь, холодно отвечал отец. Надеюсь, что не понимает.

Мать отказывалась называть меня Константином. Называла Костя. Или «Тя», как я сам придумал в два года. Я сам долго не мог это выговорить, к неудовольствию отца, который хотел, чтобы я говорил четко, верно и с идеальными ударениями, лет примерно с трех. И желательно короткими емкими фразами. Как он сам.

– Константин, выпрямись, – бросал он мне за обеденным столом. – Константин, сними ботинки и головной убор, когда в квартируходишь!

Мой отец не мог сказать «кепка». Ему надо было сказать «головной убор».

У него было два состояния. В одном он молчаливо и сдержанно поправлял мир, поправлял всех, потому что все вокруг никогда не стояли достаточно ровным строем. Он никогда не крысился, не окрикивал, не хватал за шиворот и не ставил на положенное место – он только поправлял. Легонько ударял линейкой по пальцам, чуть-чуть касался палкой спины. И это не буквально – ни линейки, ни палки у него не было.

– Незлобный человек твой отец, – говорила мать. – Не злобный.

Я ни разу не видел, чтобы они ссорились или кричали друг на друга. Ни разу никто не выскочил на лестничную клетку и не заорал: «Сука!!» В нашем доме не было ссор. В своем первом состоянии отец мой был человеком фантастического, почти на грани одержимости самоконтроля. У него было умение владеть собой до такой степени, что даже сломав однажды руку, он не охнул, не вскрикнул – а, зажав зубы, прошипел матери звонить в скорую, сам спустился по лестнице и залез в их машину. Они чуть ли не удивились, зачем вообще было приезжать. Он владел собой и таким образом владел миром, мой отец. Нет у меня никаких других слов, чтобы это описать.

Мой отец пытался быть школьным учителем. Недолгий и странный период, слава богу, не в моей школе. Зачем он туда устроился, да еще и физруком, я понятия не имел.

Он был длинный, тонкий – даже тоньше, чем я, – но мускулистый, и мог бежать, как мне в детстве казалось, сколько угодно. Любимым его видом спорта был лыжный кросс.

– Если отцу твоему надо, он сожмет зубы и до северного полюса добежит, – говорила моя мать. – Ему только дай.

И все равно – я понял бы, если бы он захотел стать, например, историком. Но никак не физруком. Свистеть в свисток и раздавать школьникам с очень белыми ногами и подбитыми коленками команды? Это было вообще на него не похоже.

Он проработал там несколько месяцев – ну максимум четверть, две, пока его не уволили.

Турнули, как он сказал, невозмутимо пожав плечами. Он вообще никогда не радовался успехам и не печалился неудачам, мой отец.

И на то, и на другое ему было глубоко наплевать.

Он не сказал, почему его уволили, сколько бы мать не прыгала вокруг и не спрашивала, делая вид, что ее это совершенно не интересует. А потом – город маленький – она столкнулась с учителькой оттуда. И та ей рассказала.

Оказывается, иногда, вместо того чтобы заставлять скорбных школьников бегать по кругу или отжиматься по нормативам, мой отец сажал их в два ряда на длинные скамьи, становился – как был, в спортивном костюме – перед доской и начинал разглагольствовать. О чем именно он говорил, та учителька сказать не смогла. О религии, вроде. Я в религии плохо понимаю, но разве можно детям – детям! – в таких терминах рассказывать? Разве можно вместо того, чтобы заставлять их бегать по кругу и играть в баскетбол, рассказывать им про грехи, и про чертей, про то, что они все еще чистые и могут выбрать иной путь, но общество уже выбрало неверный путь, неверный, понимаете? Как вообще такое можно детям говорить, я вас спрашиваю. Я не говорю, что ваш муж больной какой-то, нет, вы не подумайте, что я так говорю, но что-то там определенно есть, я говорю, нет, я вас ни в чем не обвиняю, да нет, Марина Валерьевна, я же сказала, я вас...

Ага. Моя мать делала вид, что все это было ей незнакомо. Как будто отец не разглагольствовал так же и перед нами, а мы не делали вид, что не замечаем. Как будто он иногда, зажав пальцами край стола, не принимался за эту волюнку, и весь его железный контроль вдруг исчезал, и появлялся фанатик, и он говорил так, что мы даже не смели спорить – хотя в его этих словах, которые он все пытался нам передать, по-моему, ничего особенного не было.

Он говорил о Боге, о том, что искал Бога, искал непонятно где, и что все рано или поздно его найдут, как он нашел, а мать косилась по сторонам опасливо, как будто уже тоже должна была найти, но засунула его куда-то, и теперь понятия не имела, где он притаился. Отец нечасто так делал – раз в месяц, раз в три – но яростность, с которой он это говорил, была такая, что и щепку нельзя было вставить, ничего ему нельзя было возразить, он просто не потерпел бы возражений. Посмотрели бы вы, как можно было бы спорить с моим отцом. Никак.

Мать спросила у него об этом. Смущенно, но все-таки спросила. Отец сразу заледенел.

– Марина, – сказал он спокойным и аккуратным голосом. – Этим детям надо было это сказать.

Он взял вилку и добавил:

– Возможно, кто-то из их понял.

– Но ты же физ-культурой, – она запнулась, – должен был с ними заниматься.
– Физкультурой, – повторил отец. – В слове «физкультура» есть слово «культура». Ты не замечала этого?

Он всегда спрашивал как-то так, что мать выглядела полной дурой.

Я хотел было сказать, что слово «культура» еще не значит слова «религия», но промолчал. Я вообще профессионально научился сдерживать себя, когда рядом был отец. Это чуть ли не единственное, чему я у него научился.

Даже не так – я был параллельно, а отец был параллельно, и мы так и ехали по своим параллельным лыжнями. Главное было не наезжать друг на друга неудобными деревянными лыжами и потом долго и неприятно разлепляться, держась за снег, втыкая палки в землю и стараясь не упасть. Спорить с ним было бесполезно, говорить ему что-то крайне редко имело смысл – проще было ехать, отталкиваясь от промерзлой земли, и зная, что он тебя не замечает. А если мой отец кого-то замечал, это само по себе уже было явлением.

3

Я инженер. По-моему, неплохой. Не один я так говорю – это такое же качество, как, скажем, организованность – все предметы на своих местах – и чистоплотность – аккуратно начищенные ботинки в прихожей.

Когда моя жена на меня злилась, то говорила:

– Плюнуть бы на эти ботинки.

Я говорил.

– Ну и плюнь.

Она смеялась. Когда она смеялась, она всегда хваталась за мое плечо.

Я понятия не имел, почему она так громко и долго смеется. Но рад был, что ее насмешил. Шутки, в отличие от сложных производственных механизмов, не моя специализация.

Я несколько раз пытался ей объяснить, чем занимаюсь, но она ни разу не поняла.

– Ты объясняешь так скучно, заснуть можно!

Она качала головой и подхватывала пульт от телевизора. Она была из тех, кому очень нравилось смотреть телевизор – особенно шоу, где сильно накрашенные женщины, одетые в костюмы, бесконечно что-то обсуждали. При этом они сидели в разноцветных креслах и задавали друг другу вопросы, в более или более высоких тонах. Она наклонялась и никак не могла оторвать от них взгляд – как будто притягивали ее туда.

Мне нравится рассматривать, как вещи устроены. Всегда нравилось. По правде говоря, я думал, что у меня на это будет больше времени. Я думал, что не женюсь. То есть примерно никогда.

Эта мысль не вызывала у меня ни восторга, ни сожаления, она была такой же обычной, как то, что за весной будет лето, а за осенью зима, а религия не доводит до добра – фраза, которую сказала моя мать, когда исчез мой отец. Однажды он без объяснений ушел из дома. Вместо того, чтобы закрыть ключом входную дверь, он прикрыл ее, сунул ключ под коврик и ушел. И больше не возвращался.

Мне тогда было лет четырнадцать. Моя мать даже не пыталась его искать. Она просто подала заявление об исчезновении. А потом их развели.

Кажется, когда отец исчез из нашей жизни, я должен был расстроиться. Все как будто от меня этого ждали. Мать. Сосед по парте. Учителя в школе. На самом деле я не ощущал ничего – ни дыры, ни пустоты, ни свистящего чувства дезориентировки, когда теряешь что-то и знаешь, что потерял это насовсем. Вроде как ключи выпадают из портфеля, и ищи их теперь, свищи, и точно знаешь, что не найдешь, даже если граблями прочешишь весь путь из школы домой. Я ничего не чувствовал. Не было никакой свистящей дыры. Отец просто исчез, посчитав, что больше нам не нужен. Не понадобится. В общем-то, он был не так уж и неправ.

4

Мать беспокоилась за меня. Спрашивала:

– Хочешь поговорить об этом?

– О чем?

– Ну... о том, что папа с нами больше не живет.

Я поднял глаза и посмотрел на нее.

– Нет.

А потом, потому что она продолжала ждать ответа:

– У нас суп еще есть?

– Есть.

Она поднялась и налила мне еще.

– Точно не хочешь поговорить?

– Нет.

В конце концов, к моему вящему неудовольствию, она повела меня к школьному психологу.

Психолог оказался таким старым, что я удивился, как ему все еще разрешают работать. На вид ему было лет восемьдесят, не меньше, и он не говорил, а шелестел, откинувшись на спинку кресла и глядя на меня сквозь очки в железной оправе.

– Вообще-то я не психолог, а психиатр, – прошелестел он. – Я Светлану Леонидовну заменяю. Что с вашим... эээ... юношей?

Мать посмотрела на него с ужасом.

Он задавал мне какие-то вопросы. Показывал картинки. Спросил, не слышу ли я голоса или не вижу ли невидимых людей. Пока он говорил, медленно двигал руками в воздухе, и со своего места я видел, как у него распухли суставы. Болят, наверное.

Он как-то подозрительно быстро прекратил свои расспросы.

И спросил мою мать:

– Зачем вы пришли?

Она замаялась и стала что-то говорить про то, что когда нет отца, надо...

Психиатр перебил:

– Может, это вам здесь нужна помощь? А не вашему сыну?

Она замолчала и вся подобралась. Потом сказала мне:

– Подожди в коридоре.

Я сидел и ждал ее на лавочке, вытянув но полкоридора ноги.

В конце концов она вылетела из кабинета. Лицо у нее было гораздо более веселое, чем раньше.

– Пошли, – сказала она мне почти весело. – Пошли отсюда.

5

После того кабинета мать приободрилась. С каждым днем она становилась все веселей и веселей. В конце концов она даже начала петь на кухне, готовя блинчики. Петь! Правда, когда я заходил, она резко замолкала и прикрывала рот ладошкой, как толстая девочка в детском саду, когда стащила из вазочки большую конфету.

Она стеснялась того, как громко она смеялась. Отец бы поморщился и ни за что не одобрил ни пения, ни смеха. Не запретил бы – не в его стиле было запрещать – но не одобрил бы.

Когда отец жил с нами, моя мать никогда не пела. Она косилась на него, а иногда, когда мы с ним разговаривали, поворачивала голову как на теннисном матче – сначала на него, потом на меня, потом снова на него.

А теперь она пела постоянно. По-моему, жизнь вообще стала гораздо лучше, когда он наконец убрался. Правда, когда я ей это сказал, она крикнула:

– Не говори так!

Я пожал плечами.

– Человеку нужен человек, – сказала моя мать.

Этого я не мог понять. Да и не пытался.

– Человеку нужен человек.

Говорила она это обычно когда гладила, и сама себе кивала головой. Потом посматривала на меня, потому что я в это время обычно сидел, согнувшись, за своим столом и придвинув тетрадь поближе к лампе.

– Угу, – кивал я.

Бессмысленно было с ней спорить.

6

Лет в пятнадцать, через год после ухода отца, я вдруг начал представляться Константином. Не потому, что он так говорил. А потому, что что-то не нравилось мне в обрубленном «Косте», что-то было в этом – брошенная, обгрызенная кость. Насмешка. Утвердительный стук, который слышался в моем полном имени, вообще не имел к ней никакого отношения.

Я понял, что отец имел в виду.

– Имя тебя подтянет, – сказал он как-то. Мне было тогда лет шесть. – Уж что-что, а имя тебя подтянет. До планки.

– До какой планки?

Он не ответил. Отец вообще виртуозно умел не отвечать на вопросы.

Я до конца так и не понял, какую религию исповедовал мой отец. Мне сначала казалось, что ту, где были ангелы и черти и все четко расставлено по двум сторонам. Но потом я понял, что и к добру, и ко злу мой отец относится с одинаковым пиететом. К злу даже чуть с большим. Как к более сильному противнику.

7

Когда мне исполнилось семнадцать лет, я посмотрел на себя в зеркало.

Все потому, что однажды я вернулся домой в десять вечера, и мать спросила:

– У тебя есть девушка?

После того как она спросила, я включил свет в прихожей – щелкнул по выключателю, и мутное зеркало, в котором отражался я, но в которое я никогда не смотрел, осветилось. Странно – на вешалке висели две отцовские зимние куртки. И одна моя. Он их не забрал, как и никакие другие свои вещи. Мать спрятала его бритву в зеркальный шкафчик в ванной, где хранился йод и мыло, а куртку иногда накидывала на себя, когда спускалась в подвал. Чашка, из которой он обычно пил – зеленая и облезлая по краю – стояла в серванте. Но куртки почему-то особенно сильно бросились мне в глаза. Его не было, а куртки были.

– У тебя есть девушка? – спросила мать.

Она маячила у меня за спиной, ждала ответа.

Так вот. Зеркало. Я посмотрелся в зеркало, и его мутная поверхность отразила меня. Ну, я это я. Я редко смотрел на себя – последний раз, кажется, в магазине, куда мать меня повела выбирать костюм на выпускной. Она настаивала, что мне нужен нормальный костюм, а отцовские я носить не мог – он был худее меня. К тому же я терпеть не мог его запах.

Зеркало отражало мои волосы, не слишком темные и не слишком светлые, приглаженные немного на лбу. Костлявые руки и ноги, рост – средний. Но зеркало закреплено низко, поэтому моя макушка почти доставала до рамы. Рубашку. Штаны. Серые. Свитер. Черный. Лицо.

Обычный человеческий набор. Смотреть особенно не на что.

Единственное, что можно было заметить, так это то, что я стал взрослым. Мне было только семнадцать, но из зеркала на меня смотрел вполне взрослый мужчина. Не знаю, как я это определил, но мне так показалось. Особенно учитывая то, что ни усов, ни бороды, ни даже щетины там не было. Что-то желторотое во мне все-таки оставалось.

Посмотрели бы вы на меня в семнадцать лет. Я вот, например, посмотрел.

Так вот. Насчет девушки. Это как та известная метафора с клеем. Будь спины девушек, которых я встречал, и моя спина намазана клеем, и даже приклейся они ко мне случайно – уже минут через пятнадцать они бы стали предпринимать усилия, чтобы отклеиться, через час им бы это удалось, и они бежали бы куда глаза глядят. Так что клей бы не помог. Никакое количество клея не помогло бы удержать рядом со мной даже самую заухудалую пассию.

– Нет, – сказал я матери. – Девушки нет.

О том, что со своей жизнью надо что-то делать, я задумался не сразу.

Вернее нет. Я что-то делал со своей жизнью, потому что с ней надо было что-то делать. Это как полоса, по которой надо идти с завязанными глазами, прежде чем в тебя выстрелят или ты упадешь в море. Понятия не имею, какая полоса, но кажется, я как-то раз видел такой сон. Не помню, этот сон мне приснился уже когда мы были женаты или когда мы еще не встретились. Уже когда были женаты, наверное. Мне крайне редко снились странные сны, но иногда я просыпался посреди ночи, и мышцы спины у меня болели от напряжения, как будто я всем телом защищался от чего-то. Когда были такие сны, я вставал и ощупью шел на кухню. Когда я возвращался, она лежала рядом и дышала. Я не знаю, просыпалась она или нет.

В одном таком сне я шел по полосе с завязанными глазами и знал, что далеко мне не уйти. И одновременно смотрел, как я иду. Я смотрел себе же в спину. И стрелял тоже я? Не могу понять. В сне слишком мало времени, чтобы проанализировать происходящее. Тебе показывают картинку. Вот и все.

Я двигался по узкой полоске. Кажется, она была покрыта толстой белой тканью. Наподобие мешковины. В конце концов я дошел до конца ленты и ухнул вниз. Помню, что летел совсем недолго до того, как проснулся.

Надо было двигаться вперед. Это я понимал. Я очень слабо представлял, куда, потому что кроме того, как движутся большие механизмы, как перекачиваются у них внутри железные куски, как стучит двигатель, как урчит и сокращается невидимая пружина, мало что меня привлекало. Именно поэтому я пошел на инженерию.

В жизни надо двигаться вперед. Надо шагать и одновременно думать, куда шагаешь, а у меня получалось только шагать. Я, казалось бы, должен был четче планировать свой курс, но мне не хотелось думать об этом. Мне не хотелось думать о будущем. И в любом случае. Будущего не существовало.

Надин я встретил на своей первой работе.

Работать я начал сразу же, как выпустился из университета – дальше жить в материнской квартире я не мог, хотя бы потому, что мне хотелось просыпаться и засыпать одному и не в своей детской, а потом подростковой комнате, где все еще хранились тетрадки, с которыми я ходил в пятый класс, и ботинки, которые были мне на два размера малы. Я бы с удовольствием их выкинул, но моя мать принципиально ничего не выкидывала.

– Ты что! – говорила она, и бережно относилась тетради на их старое место. – Ты что! Это же память!

Память о чем, хотелось бы мне знать. Но я с ней не спорил.

Квартиру я в итоге снял старую, с бабушкиной мебелью и скрипучими деревянными полами, кое-где облезлыми. Она была близко к работе и меня устраивала.

Диван, правда, пришлось заменить – он был продавлен до такой степени, что через две недели лежания на нем у меня начала болеть поясница.

К счастью, за шкафом оказалась заткнутая туда раскладушка, на которой я и спал последующие два месяца, пока не купил другой диван. Можно было бы положить матрас на голые доски, но у меня было подозрение, что на кухне водится мышь, и потом, на раскладушке было всяко удобнее.

Мышь мне долго не удавалось поймать – она шуршала по ночам, шуршала, но каждый раз, когда я ставил мышеловки или с фонарем выходил на ее поиски, шум прекращался, и она грамотно выходила, уж не знаю как, из-под линии огня. В конце концов я пришел к выводу, что это умная мышь, и незачем лишать ее шанса на жизнь.

Поэтому к мыши у меня больше претензий не было – она исчезла куда-то сама, и больше не шелестела. Наверное, соседи потравили.

У Надин – она не любила, когда говорили «Надя», а требовала, чтобы все называли ее Надин – были черные волосы и тонкое бледное лицо. Губы обкусаны, а глаза жадные, и она водила ими следом за мужчинами, а пальцами, если все сидели в баре или на каком-нибудь корпоративе, крепко обхватывала свой бокал.

У нее была репутация. Не то чтобы той, которая спит со всеми подряд, но той, которая «прицепится к мужику и вот увидишь, уже не упустит, ее стряхнуть тяжелее, чем бешеную собаку», как поэтично выразился один мой коллега. «Такие приклеятся намертво, и либо жениться, либо менять номер телефона».

У меня не было мыслей стряхивать ее, как бешеную собаку. С другой стороны, мысли о том, что я могу ее чем-то заинтересовать, у меня тоже не было.

Помню, я сидел и думал, как мне по-тихому свалить с очередной вечеринки. Я каждый раз об этом думал – в большом скоплении людей мне неизменно было неловко. Я не интересовался рыбалкой, не был спортивным фанатом, не любил ни пиво, ни водку и ненавидел, когда меня хлопают по плечу. Но приходилось выдерживать какое-то количество этого, прежде чем можно было уйти.

Зал уже наполнялся дымом – сухой лед, и я пристроил на спинку стула куртку, готовясь незаметно уйти. Дверь была в десяти метрах, надо было только откланяться с начальником, или, в крайнем случае, хотя бы кивнуть ему головой.

Надин танцевала с каким-то другим коллегой в рубашке и жилете, и ее пальцы с длинными красными ногтями впились ему в плечи. Коллега придерживал ее за талию. Они раскачивались на месте. Когда они развернулись, коллега оказался ко мне лицом, а она спиной. Выражение лица у него было страдальческое.

Я поднялся, чтобы уходить, сделал этот самый кивок, накинул куртку на плечи и, уже открывая дверь, вдруг обнаружил, что Надин каким-то образом оказалась рядом.

– Уже уходишь?

Из-за громкой музыки было с трудом слышно, что она говорит.

Я понятия не имел, что делать, поэтому распахнул перед ее носом дверь. Она бросила через плечо на коллегу, которого оставила на танцполе, ядовитый взгляд и прошла через дверь.

Я в два шага нагнал ее.

– Так что? Уже идешь домой?

Только тут я заметил, что она пьяна. Тушь у нее растеклась, рукой она беспорядочно отряхивала короткую юбку – непонятно от чего, потому что ни пепла, ни пятен я на ней не видел.

– Иду.

Я натянул куртку.

– Мм. Дашь прикурить?

Она наклонилась ко мне, ее повело, и одной рукой, все теми же длинными красными ногтями, она ухватила за мое плечо.

– Я не курю.

– Жжаль, – сказала она басом. – Жжаль.

Я застегнул молнию до подбородка. Вечер был холодный.

– Ну, я пошел.

Она все еще держалась за мое плечо, и, по правде говоря, я понятия не имел, как стряхнуть ее пальцы. Не будешь же просить, чтобы она от тебя отцепилась.

На таком расстоянии я чувствовал запах ее духов – каких-то тяжелых восточных цветов, может быть, лилий, а может быть, ирисов. Я не знал, как пахнут ирисы. Как она?

– Вызовешь мне такси?

Ее глаза были полузакрыты, и она опиралась на меня все более и более сильно. Я опасался, как бы она не упала и не сбила меня с ног.

В такси, куда я в конце концов запихал ее на заднее сиденье, она не смогла толком сказать свой адрес – только бормотала что-то про подругу, подругу Соню. Подруга Соня ничего ни мне, ни водителю не говорила, и в итоге мне пришлось сесть на переднее сиденье и назвать свой адрес. Пока мы ехали, она слегка то ли стонала, то ли мычала, и водитель косился на меня с неодобрением.

Когда мы приехали, я все-таки поблагодарил его – в конце концов, он-то в чем виноват – сунул ему купюру в пятьсот рублей, и практически взвалил Надин себе на плечо. От холодного воздуха она проснулась и озиралась по сторонам.

– Мы где?

– У меня. – Я оглянулся на здание и уточнил: – У моего подъезда. Ты не сказала мне свой адрес.

Она некоторое время нерешительно вглядывалась в меня.

Сейчас спросит, а ты кто.

– Кон-ссантин, – выговорила она наконец. Потом начала энергично трясти головой, как будто пыталась вытряхнуть воду из уха. – Кон-стан-тин.

– Да, – подтвердил я.

Отрадно было, что она помнит, как меня зовут.

По лестнице мне пришлось втаскивать ее почти на руках. Лифта у нас нет, а она была довольно тяжелая. Хорошо, что из квартиры на третьем не выглянула бабуса, которая тут всегда бдит. Видимо, в час ночи и у нее не энергии не хватает.

Придерживая Надин одной рукой, я доковырялся в замке и открыл дверь, дотащил ее до дивана и осторожно опустил туда. Черные волосы разметались и закрывали ей все лицо. Я осторожно отвел их в стороны.

Она спала.

На цыпочках я вернулся обратно в прихожую. Закрыв за собой дверь – открытая оставляла странное ощущение небезопасности – и запер ее изнутри на ключ. Сорвал с крючка и пристроил на спинку стула свою куртку. Поставил будильник – была пятница, и еще не хватает, если из-за нее я опоздаю на работу.

Я так устал, что с трудом стащил ботинки, улегся рядом с ней на диван и заснул прежде, чем успел подумать, что все это значит.

Проснулся я оттого, что кто-то сидит на мне верхом и расстегивает мои брюки. Серые. И шарит под свитером. Черным.

За окнами было все еще темно, но уже начинало светлеть.

Это как во сне. Такая ситуация, что не успеваешь подумать, что делать. Ты уже идешь по белой полосе вперед, а времени у тебя мало.

Я приоткрыл один глаз, потом – с трудом – приоткрыл оба и воззрился на нее. Она сняла рубашку и была в одном бюстгальтере. Он был весь в рюшах и, похоже, держался на какой-то проволочной конструкции, которая теперь нависала прямо перед моим носом.

– Ну? – спросила она. – Ну, что же ты?

Таким и был мой первый раз.

Станным. Наверное, надо сказать – странным. Мой первый раз был странным. Я понятия не имел, как это делается, и она, судя по всему, не собиралась проводить мне вводный курс. Но в этом нет особо ничего сложного.

Одна из петелек на ее бюстгальтере была оторвана – я заметил это машинально, взглянув в который раз упираясь в ее грудь. Кружево – если постирали слишком много раз, ткань истончается и рвется. И на коже остаются красные полосы.

У нее было тело, для которого секс не был чем-то новым. Не знаю, как я это определил, но оно было какое-то монолитное, крепкое, привыкшее принимать в себя. Она делала это как-то отчаянно, как будто хотела показать – вот, смотри, я здесь, ты видишь меня, я в твоей квартире, теперь ты видишь меня? Я сижу на тебе, я прямо здесь.

Я видел ее в полумраке, а за окнами становилось все светлее и светлее.

Когда она закончила и слезла с меня, я скосил глаза на часы. Было половина седьмого. Через полчаса уже надо вставать.

Она потянулась и положила голову на мое плечо. Голова была не очень тяжелая, а ее черные волосы разметались у меня по груди. Они все еще пахли ее духами, и немного – телом.

Внутри у меня было пусто.

Ты, наверное, всякое любишь, да, спросила она. В смысле всякое. В смысле интересные штучки всякие. Что тебе нравится, а.

Я закрыл глаза и посмотрел в темноту. Я слышал ее вопрос, конечно, слышал, но до меня он не дошел. Иногда до меня как будто не доходит, что хотят от меня люди. Слова существуют, кладутся в пространство, но ко мне не приближаются – я смотрю на эти слова и не понимаю, почему они имеют ко мне какое-то отношение.

Ее голос раздался снова. Ну? В этот раз она повторила нетерпеливее. С женщинами что любишь делать. Нравится тебе что. Со связыванием? С игрушками?

При слове «игрушки» у меня перед глазами возникла деревянная подставка с тремя клюющими петухами, которую я, когда только въехал в эту квартиру, нашел в шкафу, и набор из трех покоцанных, но ярких матрешек.

Ну, сказал я сонно, не разлепляя глаза. У меня настольная игра есть. Поиграть с кем-нибудь было бы неплохо. Так редко, понимаешь, выдается возможность поиграть.

Она замолкла. Потом спросила, хихикнув, на раздевание, что ли. Мы же и так раздеты, подумал я. Но ничего не сказал.

Кажется, я заснул, потому что когда проснулся, то понял, что разбудило меня клацанье в соседней комнате. Ее рядом не было, а часы у меня на запястье отчаянно пикали, и я, потирая поясницу, перекатился, поднялся и, осторожно спустив ноги с дивана, пошел ее искать.

Она выдвигала ящики моего стола и рылась в них. Судя по виду дверцы комода, тот тоже был проинспектирован. Увидев меня, она смутилась.

– Извини.

Подошла и положила руки мне на плечи.

– Мне просто хотелось посмотреть... есть ли у тебя... ну. Всякие интересные... предпочтения.

Она поцеловала меня сначала в одну щеку, потом в другую.

– Денег нет, – сказал я на всякий случай. – В этой квартире вообще денег нет.

Она резко сорвала свои руки с моих плеч.

– Не нужны мне твои деньги!! Я тебе не шлюха!!

– Не шлюха, – подтвердил я. – Хочешь кофе?

Я предложил не потому, что мне так уж хотелось пить ее кофе. Я предложил потому, что мне самому его хотелось.

– В столе старые фото только, – сказал я зачем-то. – Ты, наверное, их видела.

Она издала звук, который звучал как «пффф».

– И часы моего дедушки. «Луч». Если интересно. Во втором ящике.

11

Пока я заваривал кофе, она пристроилась на кухонном табурете, изящно сплетя ноги. Чашку она взяла одними пальцами и поднесла ко рту.

– Ну.

Я ничего не говорил, потому что все еще переливал кофе из турки в свою чашку. Моя была белая с коричневой каймой, а ее – белая с синей каймой.

– Знаешь, – сказала она, когда я наконец уселся. – Ты отличный парень. Странный, конечно. – Она посмотрела в кружку. – Странный малясь. Но хороший.

Я молча отхлебнул из кружки.

– Ты мне так и не сказал, что тебе нравится, кстати, – сказала она преувеличенно бодро, как продавец на кассе, который спросил, буду ли я брать товары по акции, и теперь ждет ответа. – Может... с завязанными глазами? В необычных позах? Стоя?

– Стоя? – переспросил я.

– Ну. Некоторым нравится прижать свою женщину к стене! – она отхлебнула большой глоток кофе и закашлялась.

Я подумал про банки с сахаром, крупички которого блестели в темноте. Про клеенку в потертых розах, на которую она поставила локти. Про вилки, которые мирно сушились возле раковины. И про карту мира, которую я прицепил к стене за ее головой – старого образца, и контуры стран уже не такие, какие они сейчас.

Также я подумал про «свою женщину» – и походя удивился. Какую свою?

– Лучше не надо, – сказал я. – Я не уверен, что смогу тебя... удержать.

На это она фыркнула и резко встала из-за стола.

– Не хочешь говорить, не говори.

Когда допил кофе и пришел в комнату, я обнаружил, что она всхлипывает и натягивает свои колготки. В колготках в районе большого пальца была дыра, и от нее к щиколотке бежала некрасивая стрелка.

– У тебя нет других? – спросил я. – Целых.

– Нет, – бросила она, и сердито вытерла нос тыльной стороной ладони. – И вообще. Я ухожу.

Потом она с трех попыток не смогла открыть входную дверь. Я в это время мыл чашки на кухне. Она вернулась туда и сердито, шмыгая носом, спросила:

– Ты насильно, что ли, меня тут удерживаешь? Против моей во-о-ли? – последнее слово она затянула, как собака, которая вдруг начинает выть, внезапно и целой руладой.

На что я заметил, что если ты не понимаешь принцип работы задвижки, не обязательно делать такие далеко идущие выводы. Надо просто отодвинуть и провернуть ключ в замке, один раз. Что тут непонятного?

Она гордо удалилась из кухни. Потом пришла опять и сказала, что у нее не получается. И что диван у меня слишком жесткий, сам я странный и вообще извращенец.

А все из-за замка, подумал я. Вздыхнул и пошел открывать ей дверь.

Когда я наконец ее открыл – за две секунды – она гордо, задрав подбородок вверх, выплыла на лестничную площадку.

Потом обернулась.

– Даже не возьмишь мой номер телефона?

Не дожидаясь ответа, она повернулась и пошла. Я стоял и смотрел, как она, нетвердо держась на ногах, спускается по лестнице.

Потом я закрыл дверь.

До сих пор не понимаю, зачем делать это стоя.

Это в моей жизни случалось часто. Повторялось часто, я имею в виду. Когда от меня вроде бы ожидалось, что я должен что-то сделать, но только я не очень понимал, что. Иногда я узнавал об этом сильно потом.

Я не особо думал о Надин. По правде говоря, я почти сразу же о ней забыл. Иногда видел ее в столовке или в коридоре, когда она шла мимо, вся застегнутая в черный костюм, и громко разговаривала со своим начальником, который шел рядом.

Как-то я случайно подслушал, как она обсуждает меня с подругами у кофейного автомата – в серой комнате, где стояли автоматы по продаже еды, неработающие, но светящиеся тусклым голубым светом.

– Ты что? С ним? С этим занудой? – номер один тоненько хихикнула. – Ну ты даешь! Я думала, ты с Максимом уехала!

– У Максима же девушка есть? – номер два.

– А он мне сказал другое, – обиженный голос Надин.

– Ну, может, уже и нет, – поспешила успокоить ее вторая. – Девушки они такие. То есть, то нет. Особенно если не живут вместе. Дело такое.

– Так ты... с ним? – не унималась первая. – Как тебя угораздило? Он же скучный, как... как носки в клеточку! И холодный небось.

– Ничего не умеет, – подтвердила Надин. – Вообще ничего.

– Какая-нибудь клуша в конце концов подберет, – отозвалась вторая. – Научит.

– Научишь такого. – Надин зашлась хриплым смешком.

– Ну он же молодой еще? – спросила первая.

– Да и что, что молодой. Женщину небось в первый раз видит.

– Ты что, его... – опять зашлась первая. – Девственности лишила?! Ха!

– Не, – отозвалась Надин быстро. – Кто-то там уже был.

– Но ничему не научила! – продолжала веселиться первая.

– Пойдемте, девочки. – Надин вздохнула, и я попятился от двери.

– Максим про тебя спрашивал, – сказала вторая осторожно.

– Скажи ему, что я занята, – отозвалась Надин. – У меня сегодня вечером свидание.

– Что, первое?

– Не-а, – сказала Надин загадочно. – Не первое. И я думаю, это мой мужчина.

Меня это не особенно задело. По правде говоря, я понятия не имел, что она имела в виду, когда говорила, что «какая-нибудь клуша меня подберет».

Мне на тот момент было уже двадцать восемь, и никакая «клуша», как она выражалась, меня не подобрала – и я сильно сомневался, что так оно и будет.

На ком только не женятся, сказала однажды моя мать. Эту фразу я слышал и раньше, но из ее уст – впервые. На ком только не женятся. И кто только не женится. Любовь – это загадка.

Интересно, что важнее – кто или на ком. Наверное, и то, и другое одинаково важно.

Мне это казалось какой-то программой. Программой, которую все должны выполнить.

Вокруг меня было много людей, которые много чего имели против программы. Я против программы не имел ничего. Быть одному меня не пугало, я воспринимал это как что-то само собой разумеющееся. Идти по программе меня тоже не пугало – в конце концов, у всего есть какие-то рамки. У жизни тоже есть какие-то рамки. Вход и выход. Почему бы и нет?

Я не раз видел, как кто-то тратит много усилий на то, чтобы бесконечно объяснять, зачем он отклонился от программы. Вначале выгибается, пытается вырваться из нее, дергается, стараясь выдернуть оттуда застрявшие части. По мне так гораздо проще пройти мимо нее. Под ней, параллельно ей. Все будут считать, что ты нормальный. Все будут считать, что тебе просто не повезло.

Часто говорят – где же я найду вторую такую. Где я найду вторую такую жену, вторую такую, как она.

Я изначально знал, что я не найду вторую такую.

Я и в том, что найду такую первую, не был уверен.

А ее мне просто выдали, выдали одну и в единственном экземпляре. Я особенно никогда не спрашивал, почему мне выдали именно ее. Это была случайность, странная случайность, но я не стал ничего спрашивать, почему, потому что был уверен, что второго такого квитка на бесконечный распределитель невест не будет.

Иногда мне кажется, что жизнь – пустая коробка. Автобус, вроде того, в котором я каждое утро еду на работу, тоже, но автобус – это время. Оно всегда идет по маршруту из прошлого в будущее.

А пустая коробка потому, что каждый набивает ее чем придется, только бы не чувствовать растущую пустоту.

Я уже говорил, что Лена – Леночка, как её все называли – была совсем не такая, как нравящиеся мне худые и костистые девушки, с выпирающими вперед ключицами, длинными волосами и глазами как у лесных фей на картинах, когда они выглядывают из лесной чащи. Леночка существовала в реальности, а они существовали в воображении. Преимущественно в моем, но в чем-то еще, возможно, тоже.

Жены вообще существуют в реальном мире, и с этим иногда трудно смириться. Концепт жены некоторым людям куда приятнее, чем факт самой жены, ее физическое присутствие.

Кровать с ее стороны была продавлена округлым отпечатком тела. На подушке после нее оставались тонкие белые волоски. Она беспокойно поднимала голову с

подушки, резко вставала и шла по своим делам, спешила, беспокоилась – я ни разу не видел, чтобы она залеживалась допоздна или вообще лежала в кровати хотя бы пару минут после того, как проснулась.

Ее ложка, аккуратно вымытая, была в такой же аккуратно вымытой чашке. Она всегда оставляла их вместе – ложку и чашку. Хотя все остальное мыла и раскладывала по местам, или я мыл и раскладывал по местам, но тоже оставлял их вместе, не решаясь разлучать.

Она наводнила мой мир своими предметами. Странно, как незаметно, но как до краев они наполнили мою квартиру. Даже старую мебель в конце концов пришлось выбросить.

Когда-то я читал рассказ Мопассана «Пышка», и она была такая. Не в смысле толстая и проститутка. А в смысле у нее было это ощущение собирания вокруг себя тепла. И одновременно, когда я ее встретил, я подумал – у нее поджатые, дрожащие губы человека, которому не везет.

Я встретил ее... вообще-то я ее не встречал. Я уже говорил – мне ее выдали.

Но что произошло, так это то, что я всегда ездил на автобусе на работу с одной и той же остановки. У края проспекта, когда он из широкого становился узкой улицей, которая кривилась и уходила вдаль между низкорослых домов на краю города и кустов сирени, которые торчали из-за забора с другой стороны.

Эта остановка была в самом центре спального района, и уже к восьми утра на ней собиралось ужасно много людей. Человек тридцать. Школьники с рюкзаками, усталые матери, которые держали своих детей за рукав пуховика, рабочие с серыми от усталости лицами, мужчины с портфелями в узких черных брюках и кепи, надвинутых на уши. Все они, скруглив плечи, ждали автобуса, готовились в него залезть, неизящно оттолкнув плечом менее удачливых товарищей. Я ненавидел лезть впереди всех, и обычно задерживался и влезал в автобус последним. Если вообще влезал.

Поэтому ждать и дрогнуть на этой остановке мне в конце концов надоело. И я стал ходить на соседнюю.

Она была подальше – минут пятнадцать пешком, которые мне особенно не хотелось идти. Зато там сразу был и автобус, и трамвай, и давка была намного меньше – не обязательно было грудью прижиматься к стеклу и шупать карманы, проверяя, не залез ли в них кто и не вытащил ли мою карточку, – и, главное, там было кафе.

Кафе было захудалое, бывшая столовая, а теперь просто стеклянный прилавок, в котором были пирожные и мороженое – заветренные эклеры, ромовые бабы с подтекающим шоколадным краем, вмятые с одной стороны «картошки». Кофе-машина позади стеклянного прилавка, блюдечко для сдачи и несколько столов на кафельной плитке. Освещение было тусклое, и за столиками почти никто не задерживался – зато очередь образовывалась, а потом быстро рассасывалась, пока все бежали на автобус.

Я иногда ходил туда за кофе. Я не люблю кофе, особенно ту мутную жижу, которую они там давали в бумажных стаканчиках. У них даже крышек не было, и

подмазанная тетка, работавшая там, морщилась и лезла куда-то под прилавок, когда я просил дать мне что-нибудь, чем накрыть стакан.

Но я все равно ходил. Выпить с утра что-нибудь погорячее, поддержать его в пальцах – кто этого не любит?

15

Первый раз я увидел ее, стоя в очереди. Она сидела за столом – единственная, кто за ним сидел, потому что все остальные стояли у прилавка, скорбно смотрели то на тетку-продащицу, то в окно, и переминались с ноги на ногу.

Она на тетку-продащицу не смотрела. Кофе перед ней тоже не было.

Вместо него перед ней было штук пять папок с документами, распечатанная таблица, к которой она прижала палец, и старый толстый компьютер, который гудел под низким потолком.

Вид у нее был старательный, но круглый. Белая прядь волос упала на лоб, две другие были заправлены за уши. Грудь под пуховым свитером почти легла на стол. Под глазами морщины, в уголках рта морщины, и все как будто заострились и нацелились на лист.

– Ну что, Ленуш? – окликнула ее продащица.

Она нахмурилась, но глаз не отвела.

– Что?

– Нормально все?

Она покачала головой, не прекращая всматриваться. Свитер колыхнулся над столом.

– Как закончу, так скажу, нормально или нет.

– Кофейку тебе налить?

Пассажиры опять побежали на автобус, и очередь сильно поредела.

– Спасибо. – Она тряхнула локоном. – Пока не надо.

Сомневаюсь, что она вообще меня видела, хотя я стоял в двух метрах от нее.

По правде говоря, я ничего тогда такого не подумал – она привлекла мое внимание, но я разглядывал ее, как, не знаю, фасад здания, которое раньше было оранжевое и кирпичное, а потом его покрасили в модный светло-розовый цвет.

Говорят – первое впечатление. Я не подумал про первое впечатление. Я и сейчас не могу сказать, какие было мое первое впечатление.

Но она правильно сделала, что отказалась от кофе.

Тем утром он был особенно отвратный.

16

Я заходил в это кафе каждый день, и видел ее все чаще и чаще. Где-то раз в неделю, может, даже два дня подряд.

Иногда она вообще не появлялась, а амбарные книги лежали и поджидали ее. Иногда ее ручка пылилась на столе. С четырьмя стержнями. Пузатая, неудобная ручка, которая плохо помещалась в ее пальцах. Наверное, поэтому она ее и оставила.

Мне не приходило мысли с ней поговорить. О чем я бы стал говорить? О том, какой дрянной тут кофе? Да, знаете, как в прошлый раз. И в прошлый. Им надо поменять кофе-машину. И локацию. И вселенную. Измерение. Тогда их кофе наконец превратится во что-то приятное. Хотя бы во что-то, что можно пить.

Кроме того, что она бухгалтер и работает в этом кафе по четвергам и иногда по пятницам, я ничего о ней не знал.

Она узнала о моем существовании вообще раза с пятнадцатого. Я все время носил одну и ту же куртку – черную, с большими карманами и ужасно практичную, но при этом делавшую меня совершенно незаметным. А потом я пошел в торговый центр и взял там желтую, для зимы. Я тогда не подумал, что желтый будет выделять меня в автобусной толпе, а я буду выглядеть как человек-лимон или дорожный рабочий.

Неудивительно, что когда я в первый раз пришел в этой куртке в кафе, она вскинула голову.

И увидела меня.

Ничего не произошло. Вот говорят – наши взгляды встретились, и меня пронзил электрический разряд. Они не знают физику. Начнем с этого.

Никакой заряд никого не пронзил, просто мы впервые встретились глазами. Это что-то вроде тех штук в компьютерной игре, когда бывает, что персонаж «залочен», то есть недоступен на том уровне, который проходишь, а потом вдруг появляется. Вот так и я – был залочен, и вдруг появился.

Она так долго смотрела на меня, растерянно от того, что я нарисовался так неожиданно, что я сказал: «Добрый день».

Она тоже сказала: «Добрый день».

И вернулась к своим бумагам.

Следующие пару недель мы не разговаривали. Я рассекал в своем желтом пуховике и собирал комплименты. Даже Надин его заметила – она все еще работала у нас, хотя с того инцидента прошло уже года два. Теперь она выглядела по-другому. Когда я видел, как она идет по коридору, то это, казалось, была и не она.

Я в жизни не подходил к женщинам. Вернее, подходить я, конечно, подходил, но совсем не в этом смысле. Например, к тетке из приемной комиссии, когда она выдавала мне мой студенческий билет. Или к продавщице с ее «картошками». Или, не знаю, к чертежнице у нас на работе, к секретарше главного, когда надо было что-то передать. Я быстро подходил и так же быстро удалялся.

Никогда в жизни я не говорил что-то вроде:

– Эй, красотка, пойдешь со мной в бар?

Или:

– Вашей маме зять не нужен?

Я сразу представлял пожилую и изрядно уставшую женщину, которая ждет, подперев щеку ладонью, и смотрит в зимнюю уличную муть, сквозь листья алоэ и кухонные грязные занавески. По-моему, не особо-то она и обрадуется, если объявится еще какой-то зять.

Или даже:

– Хотите познакомиться? Меня зовут Константин.
Я никогда не говорил: «Меня зовут Костя».
В общем. Я в жизни не подходил к женщинам – и не собирался.

17

Мне зачем-то распечатали визитки – Константин такой-то, инженер, адрес и номер моего мобильного телефона, который по большей части болтался без цели у меня в кармане.

Я в жизни не давал никому номер своего мобильного телефона. Кроме однокурсников, которым он был не очень-то и нужен, и матери, которая писала мне, чтобы купил кило картошки и стиральный порошок. Иногда она писала «Хорошего дня» или «Сейчас не могу разговаривать». Я ничего не отвечал.

Но мне распечатали визитки, и я положил парочку в карман. А в очереди от нечего делать нащупал двумя пальцами кусочек картона. Вытащил. Стал рассматривать.

– Карточка ваша визитная? – у тетки-продавщицы в тот день было хорошее настроение, а посетителей было мало.

– Так точно. – сказал я.

– Дайте.

Я протянул ей карточку через прилавок.

Она некоторое время порассматривала ее, повертела в толстых пальцах. Посмотрела на обратную сторону. Потом крикнула:

– Ле--е-е-ен!

Та оторвалась от своего экрана.

– Да?

– Тебе жених не нужен?

В очереди кто-то захихикал, но быстро подавил смех. Я не оглянулся посмотреть.

Я думал, она смутится. Но она смотрела устало и как-то не то чтобы безразлично, не то чтобы равнодушно – нет, но как-то удивительно спокойно, как будто уже обвалила в мягком масле мыслей то, что давно знала.

– Возможно. – сказала она. – Дай-ка сюда.

18

Первое свидание у нас было в моем любимом кафе. Любимом, потому что сконы там были хорошие – такие булочки, которые можно было разрезать надвое и намазать маслом и вареньем. По мне так это были просто булочки, но в меню они назывались «сконы», и владелица кафе, дородная дама с жесткими короткими волосками на подбородке, тоже их так называла. Я не рисковал с ней спорить.

Лена пришла минута в минуту – толкнула перед собой дверь, протолкнула туда сначала тяжеленную сумку, которую всегда носила с собой, с громким звуком бахнула ее на пол, а я протянул руки, чтобы помочь ей снять пальто.

Когда мы наконец уселись, она вдруг смутилась так, что лицо у нее стало совершенно пунцовым.

– Наверное, я должна у вас спросить, как вас зовут и чем вы занимаетесь, но я уже знаю! – выпалила она наконец.

– Ну да, – сказал я с некоторым удивлением. – Константин. Инженер. Это на визитке было написано.

– Да, да, – она закивала головой. – Вашу визитку я помню. У меня хорошая память на имена и фамилии. И даты.

Она чуть подумала.

– И цифры.

– Может, будем на ты?

Она покраснела еще сильнее. Уши буквально запылали красным.

– Я... сразу на ты не могу, – сказала она наконец. Не очень решительно. – Давайте пока на вы. Мы все-таки не слишком знакомы.

– Давайте.

Когда принесли чай, она нервно засмеялась. Она вообще вела себя так, как будто вот-вот вскочит и побежит со своего места, как резвая кобылица. Резвая кобылица весом в восемьдесят килограммов.

У нее был обширный бюст, видный даже под глухим серым свитером. Волосы, завязанные в хвостик – под конец дня они пушились облачком у ее головы. На пальцах – несколько колец. Все простые, только одно с бирюзовым камнем.

– Я не часто... Ну то есть, я никогда... – она замялась, двумя пальцами взяла чашку и поднесла ко рту. Капля тут же упала ей на свитер.

– Не люблю, когда маленькие чашки, – пожаловалась она. – Вечно пальцы обжигаешь. И наливать надо по десять раз.

– Я тоже, – сказал я. Совершенно искренне.

Она вдруг посерьезнела.

– Так что вы хотите?

На такой вопрос я не знал, как отвечать. Тем временем она наступала.

– Вы ищете женщину для серьезных отношений?

– Вполне серьезных, – сказал я.

– Ну то есть вы не только спать с ней хотите? – уточнила она.

– Спать тоже хочу, – подумав, честно признался я.

– А раньше у вас женщины были?

Странный оборот принимал наш разговор. А я думал, что это я ее пригласил.

Я не видел причин врать.

– Были, – сказал я.

Мой ответ, казалось, ее успокоил.

– А долго вы... с ними были? – спросила она. – Почему все не привело... к браку?

– Ээ.

Я задумался. Ответа на этот вопрос у меня приготовлено не было.

– Ну. Там было довольно далеко от брака.

Она наклонила голову набок. Как птичка на ветке. Такой же жест был у моей бабушки.

– Это были... разовые встречи?

– Д-да. – Сконы все никак не несли. – Разовые.
– И она была на это согласна? Ваша... девушка?

– Да, – я пожал плечами. – Наверное, да.

Она, казалось, о чем-то задумалась.

Потом резко спросила:

– Простите, а сколько вам лет?

Ну хоть это был простой вопрос.

– Двадцать девять, – сказал я. – Тридцать будет в июле.

Она нахмурилась.

– Я думала, вы моложе. А мне тридцать пять.

– А.

Эта информация не произвела на меня особого впечатления. Она была старше, чем я вначале думал, но я и не думал ничего особенного – между тридцатью и сорока.

– Мне тридцать пять, и последние четыре года я провела с...

Принесли сконы. Официантка в не слишком чистом переднике – тут у всех были такие – поставила блюдечко между нами. Потом принесла подставку с вареньем и маслом. Я взял один скон.

– Мне не нужен мужчина с несерьезными намерениями. – резко сказала она.

Нож клацнул по тарелке.

– Вы извините, что я вас так допрашиваю, но мне... я... Я больше просто не выдержу. С меня хватит. Понимаете?

И тут я взял и сделал ответный выпад.

– Так с кем вы провели четыре года?

Она посмотрела мимо меня.

– С тем, кто мучил меня неопределенностью. – сказала она тихо и четко.

Уголок ее рта поехал вниз, мышца на щеке дернулась, но она быстро вернула ее на место.

– Я все делала, понимаете? Все! Жила с ним, мыла, убирала, стирала! Расстегай научилась готовить, будь он нелажен! Записывала его к врачу, пришивала ему пуговицы, покупала лекарства его маме! Даже в больнице ее навещала! И все зачем? Все ждала, пока он... пока он...

Она порывисто перевела дыхание, но овладела собой.

– А он... ничего. Четыре года! Ни кольца, ничего! А потом, – продолжила она сердито. – Я у него спросила. А он и говорит – зачем? Зачем жениться? Я не хочу на тебе жениться. Меня и так все устраивает. Его и так все устраивает!! Понимаете?!

В кафе, кроме нас, никого не было, но официантка покосилась на нас неодобрительно.

Лена схватила со стола салфетку и быстро вытерла лицо. Но продолжала.

– А он у меня спрашивает, Леночка, ну ты что. Что?! Что я?! Четыре года! Меня тридцать пять уже! Так что вы меня извините, Константин, – она ткнула в скон ножом, и он раскололся надвое. – Больше я на это не пойду.

– На что? – уточнил я.

– На то, чтобы жить без брака, – отчеканила она. – И еще мне хотелось бы иметь детей. Мне тридцать пять!

– Это я помню.

Она хмуро посмотрела на меня, потом отломила от скона кусок и мрачно запихала его в рот. Даже вареньем не помазала.

– С вареньем вкуснее, – сказал я.

Но она не послушала. Проглотила и сказала укоризненно:

– Так вы как?

– Насчет чего?

– Насчет жениться.

– Вообще-то это наш первый разговор, – напомнил я.

– Первый или сто первый, какая разница. – она помахала у меня перед носом вилкой. – Чтобы принять решение, много времени не надо.

В этом я, подумав, мог бы с ней согласиться.

Я прожевал и спросил:

– Так сколько вы мне дадите?

– Сколько дам вам чего?

– Не чего, а на что. На принятие решения, – сказал я. – После одного разговора предложение руки и сердца я вам сделать не могу, извините.

Она издала какой-то странный звук, как будто подавилась.

– Вы же шутите, да? – спросила она. – Вы так шутите? Вы вовсе не собираетесь на мне жениться. Вам я тоже не подхожу, да? Я никому не подхожу.

И с сожалением посмотрела на скон.

– Я как испорченная игрушка в игрушечном магазине. Никто меня не выбирает. Лежу себе на полке... одна.

Через два месяца я сделал ей предложение.

19

Это не то, что вы думаете.

Осмелюсь даже предположить, что это совсем не то, что вы думаете!

После того разговора мы вышли из кафе, пожали друг другу руки и разошлись по разным сторонам. Ни дать ни взять собственник квартиры и покупатель, которые только что заключили сделку и разошлись, вполне довольные друг другом.

Я продолжал видеть ее по дороге на работу. Она продолжала сидеть над своими таблицами, но теперь иногда здоровалась первой, бегло поднимая на меня взгляд. Вид у нее был такой, как будто она – военачальник, который восседает на куче черепов, составленной из убитых врагов отечества. Решительный вид, и даже немного грозный.

Она мне такой нравилась.

– Моя голубка, – говорил я ей про себя.

Непонятно, как там появилось слово «моя», и еще более непонятно, как появилось слово «голубка».

В конце концов мне это надоело. Я подошел к ней и сказал:

– Ладно.

Она подняла голову:

– Ладно что?

– Ладно. Ты выйдешь за меня?

Я как-то не учел, что за моей спиной стояла длинная очередь совершенно незнакомых мне людей.

Стало очень тихо.

Она медленно подняла голову.

Мы встретились взглядом – как тогда, в первый раз.

– А детей ты хочешь?

У меня шумело в ушах, и я не сразу понял, о чем она спрашивает.

– Мать честная! – охнула тетка на кассе.

В очереди кто-то что-то пробормотал, но я не расслышал.

– Я не против, – сказал я. – Своих у меня нет, но я... за.

– Да! – сказала она звонко. – Да!

И потом, когда я не понял, повторила:

– Да! Я за тебя выйду.

Это был второй раз, когда она сказала мне «ты».

Не дожидаясь, пока я еще что-нибудь скажу, она вскочила со своего места и обняла меня за плечи.

Очередь зааплодировала.

– Молодец, мужик! – донеслось из-за моей спины.

– Желаю семейного счастья!

– побыстрее можно, пожалуйста?!

– Совсем офонарели...

– Автобус сейчас придет! Я здесь полчаса ждать не буду!

Я осторожно прижал ее покрепче. Она подняла ко мне лицо. Оно было все влажное – от слез.

Я посмотрел на нее сверху вниз.

– Кольца у меня нет, правда.

– Купишь.

Она поднялась на носочках и поцеловала меня. Губы у нее были теплые, а не влажные.

– В ближайшем магазине и купишь. Это не так сложно. Я тебе скажу, что мне нравится. И размер.

– Размер? – удивился я. – У колец бывают размеры?

Тут уже засмеялась она. Я первый раз слышал, как она смеется.

– Бывают. Еще как бывают.

И обняла меня поплотнее.

Мы подали заявление на следующий же день – так я узнал ее отчество и фамилию.

– Мм, – сказала она, посмотрев в мой паспорт. – Фамилия как фамилия. Мне в общем-то все равно, на какую менять. Ну разве что не Дуракова.

– Дуракова?

– Или Козлова. У меня была одноклассница, Козлова. Жутко противная баба. – Она передернула плечами. – Так что Козловой я бы точно не согласилась быть.

– Ну. Значит, хорошо, что я не Козлов.

Дату регистрации мне было все равно какую – выбирала она. Мы условились, что она переедет ко мне сразу после свадьбы. Но посмотреть квартиру она приехала раньше – с чемоданом, огромным, едва ли не больше, чем она сама.

С некоторым трудом она расстегнула его в прихожей. В буквальном смысле расстегнула – он был прихвачен ремнями.

– Молнию заедает, – пояснила она на мой вопросительный взгляд. – Трудно потом открыть.

В чемодане оказались: фен, банный халат, несколько пар тапочек, электрический чайник (у меня был свой) и целый шкаф женской одежды и обуви. Также там был кофр, набитый какими-то кремами, таблетками и средствами, которые она с некоторым трудом засунула в угол ванной.

– У тебя совсем мало места, – сказала она критически. – Со временем переедем в квартиру побольше.

Потом принялась швыряться в шифоньере, ища там место для одежды. Одежды и обуви у нее были буквально горы, поэтому я сомневался, что место там вообще когда-нибудь освободится.

Но нет – квартира выглядела совершенно по-другому после того, как она в тот раз отсюда уехала. Чемодан был опустошен и засунут под диван.

– Что за гадкая штука, – сказала она, этот диван увидев. – С таким спина будет как буква зю. Надо будет купить нормальный.

И мы действительно купили нормальный. На нем было намного удобнее. Не знаю, что в этом казалось мне таким удивительным.

Организацией свадьбы тоже занималась она. Если это вообще можно назвать организацией. Иногда просила меня помочь – с машинами, с рестораном, всем одинаковые бабочки («Кому – всем? Какие бабочки?» – «Бабочки на шею, конечно! У тебя же наверняка нет! Ну... Костя!» – «Не называй меня Костей». – «Ладно. Константин». – «И где я тебе найду бабочки?» – «Ну найди где-нибудь! Свадьба через неделю!» И я принимался искать.).

Я понятия не имел, что организация свадьбы это такая головоломка. Даже такой маленькой, как у нас. Под конец я так устал, что не был бы удивлен, если следующим пунктом надо было бы ехать в Гондурас – за редкими образцами ананасов для праздничных столов.

За два дня она позвонила мне и серьезно спросила:

– Ты не передумал?

Я в это время дремал, вытянувшись на диване. Поэтому, сонно приоткрыв глаза, переспросил:

– Передумал насчет чего?

– Насчет того, чтобы на мне жениться.

Даже так я почувствовал, что из трубки сочится страх. И чем дольше я молчал, тем больше он сочился.

– Нет, – сказал я. – Нет, я не передумал.

– А ты... не абьюзер? И у тебя нет наследственных болезней? Наркотических и алкогольных зависимостей точно нет, я бы заметила, если бы...

– Ты сейчас у меня спрашиваешь?

– Ну, – сказала трубка нерешительно. – Когда-то же надо спросить. Лучше до свадьбы, да?

– Нет. Ничего у меня нет.

Пока дремал, я умудрился скинуть с себя одеяло, и пошарил теперь рукой по полу в его поисках.

Трубка с облегчением вздохнула.

– Альцгеймер? Депрессия? Умственная отсталость? Деменция? Синдром Турретта?

– Синдром Турретта?!

– Извини. – сказала трубка. – Читала про него где-то. Заработалась. Это я случайно. Но... ты не передумал? Точно?

Я вздохнул и сказал честно:

– Только про кольца для салфеток мне больше не говори, ладно? Гребаные кольца для салфеток. Я и без них хорошо жил, и дальше, думаю, хорошо проживу...

Она засмеялась.

И положила трубку.

22

В день свадьбы была отвратительная погода. Выпал снежок, и шел мелкий дождик – и таял противными хлюпающими хлопьями, так что края брюк моментально грязнились, не говоря уже о ботинках.

Я надел свой единственный костюм и бабочку – потому что она настаивала, и приехал к ней домой с утра пораньше и дожидался в подъезде, «чтобы не видеть меня в свадебном платье, если увидишь – плохая примета».

Моя мать звонила мне с самого утра – она должна была приехать в ресторан, но все нервничала, непонятно почему. Лично они с Леной еще не виделись.

Она звонила каждые десять минут. И каждый раз спрашивала:

– Ну, как там у тебя?

Я каждый раз говорил:

– Нормально.

Потом она спрашивала:

– Уже расписались?

Я говорил:
– Еще нет.
Она говорила:
– А во сколько распись?
Я говорил:
– Мам! Ты уже спрашивала.
– А. Ну да. А я еще не выехала. Я... – ее голос звучал растерянно. – Я только собираюсь. Думала черное платье надеть, а потом вспомнила, что это же свадьба, а на свадьбу не носят черное.
– Да, – согласился я. – Вроде не носят.
– Я придумала, что.... Лене. – Она произнесла ее имя осторожно. – Подарить. Я ей в ресторане подарю.
– Ладно. – соглашался я.
– Ты мне прислал адрес ресторана?
– Ну да.
– А открываются они во сколько?
– Мам. Они уже будут открыты.
Она помолчала и сказала:
– Лучше бы ты за мной заехал.
– Я не могу, мам. – Бабочка неприятно жала мне шею, и я потянул резинку двумя пальцами. Непонятно зачем они делают такие тугие резинки. – Мне Лену надо забрать.
– А. Ну да. Ну я тогда поеду в ресторан, а ты давай, давай, вы, наверное, торопитесь... – она зачастила так, что я с трудом мог понять, что она говорит.
– Пока, мам. – сказал я. – Увидимся там, ладно?
И положил трубку.

23

В загсе я сказал «да», когда спросили. Это, как я понимаю, было самое главное.
На тетку с папкой я не смотрел – это была совсем даже не тетка, а женщина с крупными чертами лица и такими же крупными серьгами в виде золотых ракушек. Костюм у нее был бордовый и ужасно ей не шел, потому что делал ей огромные плечи и талию как холодильник, и вся вместе, с прической, она была похожа на швейцара из отеля «Метрополь».

Лена тоже сказала «да». Звонко и четко. И сильно стиснула мою ладонь.

На банкете она была так пьяна от счастья, что я сомневаюсь, слышала ли она хоть одно слово из того, что там говорилось. Она блаженно улыбалась даже тогда, когда вся косметика осыпалась и образовала у нее под глазами синие озера, а помада съелась – каждые три минуты она тянулась меня поцеловать. От того, что я постоянно кренил голову в ее сторону, как белый лебедь на пруду, чья самка немного отстает и плывет сзади, в конце концов у меня разболелась шея.

Людей было очень мало – мои коллеги с работы, моя мать, ее коллеги с работы, которых оказалось почему-то очень много, и все женщины в платьях и пиджаках, кто

пошире, кто поуже, но до такой степени типичные, что мне показалось, что их всех привели как массовку, с ближайшей автобусной остановки. Если бы они были специально отобранными актерами, которые гуляют, поздравляют и кричит «горько!» на свадьбах, а потом каждому платят по тысяче рублей и вся тусовка расходится домой, для меня не было бы никакой разницы. Мужчин было очень мало, и женщины в пиджаках танцевали друг с другом, крутясь и качаясь, раскачиваясь и даже подпрыгивая, опрокидывая еще рюмашку и подпрыгивания еще резвее. Кто-то – с мужьями, которых притащили сюда же, с собой, потому что на вечеринку, как известно, проще явиться со своим самоваром. Особо ретивые сидели, сторожа своих мужей, следя за их дозами алкоголя и зыря по сторонам, а вид у этих мужей был такой мрачный, как будто скоро под ними провалится пол.

– Это Мишка и Светка, – шептала она мне на ухо. – Разошлись в прошлом году, но потом опять сошлись. Ребенок все-таки.

– А это Петька и Вася. Василина, но все ее Васей зовут. Петьку все знают, по бабам ходить любит, но ты не говори, что это я тебе сказала, Василина хорошая, моя коллега, мы вместе на заводе работали, где я еще практику проходила, а тогда...

Принесли торт. К тому моменту, как мы его разрезали и обнесли всех гостей, и тех, кто сразу с благодарностью пихал его в рот, и тех, кто хотел взять себе кусочек и сунуть в пакет, чтобы забрать домой, и Петя, и Вася, и Надя, и еще все те, кто там был, вылетели у меня из головы.

– А у нас с твоим отцом не было свадьбы, – сказала моя мать мечтательно. Она не танцевала, только слушала вальс и качала ногой.

– Да? – спросил я. – Почему? Я думал, была. У вас вроде и фотография есть.

Я выпил не много, но вино туманило мне голову, клонило в сон – а Лена куда-то делась, то ли в очередной раз выбежала в туалет, где подружки послушно держали ей шлейф, чтобы не прищемило дверью, то ли выскочила на улицу, постоять, «проветриться».

– Не было свадьбы. Мы сразу только расписались, а фотографию потом сделали. Моя подруга нас фотографировала.

– Я вначале за другого хотела пойти.

Я качнул головой.

– За какого другого?

– Да у него друг был. – мать слегка нахмурилась. – Женя. Мне больше нравился. А твой отец смурной был, такой серьезный. Я даже для свадебной фотографии ему говорю, когда делали, на нас фотоаппарат наводят, а я говорю – ну, улыбнись ты хоть раз! В первый же раз женишься!

– А он что – улыбнулся?

– Женька другом жениха был. Свидетелем, вот как, – продолжала мать, не слыша меня. – Потом уехал. Компанейский такой парень был. Уехал. Вроде в Мурманск.

– В Мурманск, – повторил я механически.

Мать откинулась на спинку стула и качала туфлей в вальсовый ритм.

– А все могло бы быть не так, – сказала она. – Странно, как поздно это понимаешь. Все могло бы быть не так.

Странно, как однажды принятое решение становится гвоздем. Гвоздь этот вбивается в стену жизни, а на него потом навешивается все остальное – куртки, сумки, тяжелые пакеты.

Но если бы не было этого решения, всего остального бы тоже не было, и все это добро свалилось бы на пол.

Во второй ее приезд чемодан был еще больше.

– Твоя квартира странная какая-то, – пожаловалась она. – Вроде место есть, а ничего не помещается.

– Если надумаешь что-нибудь выкинуть, меня вначале спроси, – сказал я.

Со временем она выкинула вообще все. Даже кухонного гарнитура, который казался мне вполне ничего, не стало. Старого, предыдущего меня тоже не стало. Уж если позволишь женщине себя изменить – она изменит все.

Не то чтобы я стал думать о других вещах или стал другим человеком – я думал о том же самом по дороге на работу, но еще я думал о ее подбородке, о белом изгибе ее тела, о коже, усыпанной мелкими красными крапинками, и о том, как она зевала утром, широко и отчаянно, и закрывала рот рукой, чтобы зевать не так громко, а потом по одной спускала ноги с кровати.

– Ну почему же так не хочется вставать, а? – спрашивала она у пустоты. – Почему так не хочется вставать?

Я лежал с закрытыми глазами и слушал.

– Эх!

Она с силой отталкивалась от кровати и шла в ванную.

Я зажмуривался – от удовольствия. Хорошее было утро.

Просто я никогда не думал, что это буду я. Я всегда почему-то был уверен, что семейная жизнь обойдет меня стороной, – но прошел месяц, потом два, потом шесть, потом почти год – пока до меня в конце концов дошло, что нет, не обошла. В конце концов я приучился говорить «моя жена», и все равно каждый раз спотыкался на этом слове.

На работе меня не особо поздравляли – женился и женился. Только Надин подошла.

– Молодец, – сказала она коротко. – Поздравляю.

– Спасибо, – ответил я. Я подумал, что забавно будет сказать «товарищ Надя», но благоразумно так делать не стал.

– Ты теперь проставляешься?

– Что?

– Когда банкет, говорю? – спросила она, развеселившись.

Все остальные в кабинете наострили уши.

– Не уверен, что будет банкет. – сказал я.

– Ну, – сказала Надин. – Не будь жмотом!

– Новый год скоро, – я пожал плечами. – Все равно же корпоратив.
– М-м, – она повела плечами, но тут телефон, засунутый в нагрудный карман ее рубашки, зазвонил и разошелся пришепетывающим рэпом.
– Вот черт, – чертыхнулась она, глядя на экран. – Ладно, поздравляю, пока!
– Пока, – сказал я, и вернулся к своему компьютеру.

Слово «жена» застревало у меня во рту, как-то не так там перекатывалось, как таблетка, которую все никак не удавалось проглотить. Я выговаривал, конечно, но дело было не в этом.

– Как тебе семейная жизнь? – спросил другой коллега, когда Надин ушла. Он только того и ждал, и живо поднял голову от компа, перестав даже делать вид, что работает.

– Нормально.

– Кем она работает? Тоже у нас?

– Бухгалтером, – сказал я.

– Оо, дашь контакты? – оживилась другая коллега, за дальним компьютером у самой стены. – Мужу как раз бухгалтер нужен, старая уволилась, новую никак не может найти... Дашь?

– Я спрошу, – сказал я. – Не знаю, берет ли она новых клиентов.

Она кивнула. Потом подумала-подумала и спросила:

– А свадебные фотки есть?

Мне не хотелось продолжать этот разговор.

– Как-нибудь покажу.

Я щелкнул мышкой и вернулся к своим файлам.

Я не сразу понял, что женатый мужик считался у нас на работе единицей куда более редкой и ценной, чем тот, который не был ни на ком женат. Каким бы страшным он ни был, каким бы нелюдимым, да даже если он не мог связать и двух слов – статус «женат» отправлял его в другую, совершенно новую категорию, где все работающие у нас свободные женщины начинали искать в нем, то есть во мне, скрытые достоинства, и «с какой женщиной он решил связать свою жизнь», как это говорилось на свадебном банкете.

Кольцо на пальце – которое я, кстати, ненавидел носить и часто снимал, клал рядом с клавиатурой, а потом надевал обратно – мигом перевело меня в новую категорию, только я не знал, что мне в ней делать.

Ко мне теперь подсаживались в столовой, приглашали на корпоративы, спрашивали, приду я с женой или нет, как будто жена была гарантом мой нормальности. Спрашивали, как мы провели выходные, куда мы ездили в отпуск, что нам понравилось из недавно вышедших фильмов, и эти полные «мы» заменили одного, не очень состоятельного меня. Носить кольцо, кстати, было не очень удобно. Но Лена обижалась, когда меня без него видела.

– Ты какой-то странный муж, – говорила она. – Тебе и на еду все равно, и на то, постирано-поглажено или нет.

– Сам привык все делать, наверное, – я пожал плечами. – Не думал, что это такая редкость.

– Ты как будто ничего от меня не требуешь, – сказала она.
Критически посмотрела на заварочный чайник и добавила:
– Это странно.

26

Потом она рассказала мне про «своего бывшего козла» больше. Не могу сказать, что я все запомнил.

Якобы он иногда звонил ей, пытался ее вернуть. Якобы был ужасно зол, что она так быстро выскочила за другого. Потом плакал. Потом опять был зол.

Я не очень понимал, почему – возможно, неглаженное и нестиранное белье у него в квартире достигло критической отметки. Я почему-то представлял не его самого, а его треники, его раздавленные тапочки, которые валялись – один подошвой вверх, а один нормально – у края дивана.

Я почти всегда ходил дома в носках или босиком. Тапочек у меня не было.

– Но я теперь с тобой, – говорила она и брала меня под руку. И прижималась ко мне покрепче. – Я теперь с тобой, и никого другого мне не надо.

Один раз я слышал, как она приводит меня в пример подругам, когда их сожитель или бойфренд не хочет на них жениться.

– Пять месяцев, одиннадцать месяцев, ну что ты говоришь такое! Вот Константину много времени не понадобилось, – услышал я, когда одна из них пришла к нам домой и я проходил мимо кухни. – Пришел, увидел, победил!

Подруга ответила что-то, что я не расслышал. Стукнула крышка чайника.

– Да ты знаешь, нормально. Как у всех. Нормально.

Молчание.

– Какие-то вещи могли бы быть и лучше. Разговаривать с ним как с каменной стеной иногда. Не поймешь, что он, как он вообще. Так смотрит на меня, что я ничего не понимаю. С предыдущим хоть все понятно было! Как начинал орать, так уже не останавлишь!

Короткое молчание. Подруга опять что-то ответила.

– Козел, козел. Этого не отнять. До Константина я вечно каких-то козлов выбрала.

– Хорошо, что у тебя наконец получилось, – сказала подруга. – Нормального найти.

– Не то слово, – она коротко вздохнула. – Я уже отчаялась. А тут он! И не побоялся! А по нему и не скажешь!

– Точно, – подтвердила подруга. – По нему не скажешь. А мне надо со своим поговорить. Все никак не соберусь. У тебя еще конфеты есть?

Я пожал плечами и прошел обратно в комнату.

27

– Нам надо начать пытаться почти сразу, – сказала она.

Вид у нее был обеспокоенный.

– Пытаться что? – спросил я для верности.

– Зачать ребенка. – ответила она очень серьезно. – Ты вообще когда-нибудь мечтал о детях? Представлял, какие у них будут имена? Как они будут выглядеть? В какую школу ходить?

– В районную? – я отковыривал от сырника сгоревшую корочку, и был занят преимущественно этим. – Школа же по месту прописки.

Не замечая моего ответа, она продолжала:

– Как ты будешь их будить по утрам? Как вы будете спорить, надо чистить зубы или не надо, ты будешь говорить, иди чисти, я твоя мама, я лучше знаю? Как трудно будет их вечером в постель их загонять? И спрашивать, почему так долго с друзьями шляется, поганец эдакий?

Я чуть было не сказал, что у меня до сих пор это спрашивают, но вовремя заткнулся.

Глаза у нее сияли.

– Я всегда их хотела, понимаешь? Но сейчас как будто стыдно сказать «я хочу детей». Как будто стыдно сильно их хотеть, все тебя отговаривают, или, наоборот, торопят. Хотя чего тут стыдного? Правда же? Я уже все распланировала – имена, как я буду их одевать, мальчик или девочка, что я их защищу, если их будут обижать в школе, потому что нел...

– Ну, может, их и не будут обижать в школе. – Я наконец отковырял подгоревшую часть сырника и был этим очень доволен. – Меня вот не обижали.

Она внезапно погрустнела.

– У меня с... с фертильностью не очень. Это врач мне сказала. Давно еще. Я не очень поняла, но вроде больших проблем нет. Надо пытаться. Так она сказала. Что надо обязательно пытаться е... естественным путем.

– И потом, – перебила она сама себя. – Не могла же фертильность к тридцати пяти испариться же, да? Не может же у меня там... ну, ничего не быть? А материнский инстинкт у меня точно есть! А если есть, то потенциал выносить и родить есть! Да?

Она оглядела кухню. Кухня была совершенно чистая.

– Да, – сказала она сама себе. – Надо начать пытаться.

– Ну, мы вроде пытаемся... уже пару месяцев, – сказал я.

– Пара месяцев это ничего. – отрезала она. – Вообще ничего. Может, мы пытаемся не в те дни. Надо все аккуратно и по графику делать, а мы пытаемся то тят, то ляп, то тебе на работу надо!

– Никогда не думал о детях в таких терминах, – я подцепил вилкой второй сырник.

– Да, – она вздохнула. – Все говорят, что дети рождаются от любви. Моя бабушка так говорила. Пока еще... была жива.

– Моя мать тоже говорила что-то подобное, – я внезапно вспомнил. Что именно она говорила, я не мог сказать, но фраза была какая-то такая, что любовь – это расширение, и любовь вмещает больше, чем... больше... не помню.

– Мам? – спросил я у нее потом. – Ты как-то говорила про детей. Можешь пояснить, что ты имела в виду?

Она так и зажглась вся, как рождественская лампочка.

– Вы... с Леночкой собираетесь детей планировать?

Со свадьбы она называла ее исключительно «Леночкой».

– У вас бу...будет...

– Пока ничего не будет, – успокоил я ее. – Но Лена хочет.

– Конечно, – сказала моя мать. – Ведь ей уже тридцать пять.

Почему они все повторяли этот факт, а? Как будто он был написан на стене и обязательно надо было прочитать его оттуда, прежде чем продолжать разговор.

– Вам лучше сейчас начать пытаться, – сказала моя мать. – Чем раньше, тем лучше.

– Спасибо, – поблагодарил я. – Так что там? Про детей?

Моя мать замолчала. Она молчала редко, поэтому я ждал.

– Мне было очень тяжело, когда ты появился. – сказала она совсем другим голосом. – Очень тяжело. Но. Я никогда не жалела. Понимаешь? Я никогда не жалела, что ты у меня есть. Как только ты появился, я стала... – она запнулась. – Ты был самое важное. Ничего более важного не было. Я стала все мерить совсем другой меркой. Я думала, что мне придется выбирать. Но даже выбирать не пришлось.

– Для твоего отца, возможно, это было не так, – сказала она с вызовом. – Но для меня ты был самое важное. И остаешься. Понимаешь?

– Понимаю, – сказал я. – Наверное.

28

Пытались мы регулярно. Она настаивала. Очень быстро я понял, что ей больно, и дело тут не во мне. Она ойкала и стискивала зубы, а иногда даже скрежетала ими – я слышал, как прерывисто она дышит и как они скрежещут, и как она вся сжимается, но упрямо прижимается ко мне еще крепче и шепчет:

– Все нормально! Все нормально!

У меня не очень много опыта, но, по-моему, это не совсем то, что надо говорить во время секса.

Я чувствовал ее боль и старался быть осторожнее – я не знал, откуда эта боль бралась, но старался делать так, старался, как мог, чтобы боли не было. Но в такие моменты не очень-то получается себя контролировать. Чего я никогда не делал, так это не продолжал против ее воли – она мне потом сказала, что ее предыдущий просто прижимал ее кисти к кровати и продолжал, говоря, что это его очень возбуждает.

– Я привыкла, – сказала она, пожав плечами. – В конце концов, это минуты три. Может пять. Проще перетерпеть!

– Проще, чем что?

– Чем спорить, естественно, – пояснила она спокойно.

29

– Вообще-то это не должно быть больно, – сказал я.

– А ты-то что об этом знаешь!

Она только что вернулась из ванной.

Ниже пояса она была голая. Поежившись, она забралась обратно в постель и натянула на себя одеяло.

– Холодно, – пожаловалась она. – Отопление еще не дали.

Я продолжал на нее смотреть, и она, казалось, немного смягчилась.

– Мне только немного больно. Только иногда. В позициях некоторых. На боку, например, нормально!

– Я не об этом.

– Я знаю, – бросила она резко. – И мне всегда было больно, если хочешь знать. Со всеми... – она запнулась. – Партнерами.

– И не то чтобы их так много. – добавила она, смотря в сторону. – Ты не подумай чего! И анализы я прохожу. Делаю, в смысле. Осмотр и анализы. Никаких инфекций у меня нет.

– Я ничего не говорил про инфекции.

– Я знаю, – опять повторила она. – Просто... ну. Боль. Это такое. Если привыкнуть, то не так уж и страшно. Даже приятно!

Она покосилась на меня.

– Ну ты понимаешь, что я хочу сказать.

– Я что-то могу сделать, чтобы тебе стало лучше?

Она внезапно улыбнулась, подползла поближе и прижалась к моему боку.

– Я тебя научу, – сказала она. – Это не так сложно.

– Что, будем заниматься этим по расписанию?

– Надо, если хочешь повысить свои шансы, – вздохнула она. – Я еще недавно с таблеток слезла.

Она слегка порозовела.

– Сразу может не получиться. После таблеток обычно... сразу не получается.

– Ок.

– Посмотрим, – она кивнула сама себе и потерлась об мое плечо. – Посмотрим.

30

Во время она тоже боялась – и я чувствовал, что она боится. Она вся сжималась, вжималась в кровать, потом усилием воли возвращала себя обратно. Обнимала меня покрепче и прижимала к себе. Сквозняк из открытого окна охлаждал мне кожу.

Иногда она говорила:

– Мне страшно, мне страшно.

И начинала трястись от страха. Одеяло тряслось вместе с ней.

Я обнимал ее, клал руку ей на живот, и страх проходил – не сразу, но постепенно. В конце концов одеяло переставало колыхаться – ей удавалось овладеть собой.

Я никогда не встречал никого настолько же нервного, как она. Я никогда не встречал кого-то, кто умел бы это так хорошо скрывать. Она была обстоятельная, исполнительная, ответственная. Отличным бухгалтером – и совсем не просто бухгалтером, а главным, тем, которая за два дня могла разобраться в том, что другие не понимали и за две недели. В этих документиках она все видела, все замечала – но, когда документы были далеко и приходилось сталкиваться с чем-нибудь еще, ее охватывал такой страх, что иногда она полным серьезе останавливалась посреди улицы и спрашивала меня, куда нам идти.

С нее за минуту слетала вся ее взрослость, и она боялась совершенно по-детски, со всем ужасом, глазами, расширенными от страха, стучащим сердцем, дрожащими руками –

страх забирал ее всю и держал, медленно пережевывая и клацая, клацая. Она боялась всем телом. И никогда не могла точно сказать, чего.

Она всегда беспокоилась. Беспокоилась, как выглядит, не сказала ли чего лишнего, не больна ли чем, – в ее воображении болезнь постоянно таилась где-то рядом, только ждала, чтобы ее схватить. Только и протягивала к ней свои склизкие мокрые пальцы, и почти – почти – касалась ее кожи. Она тряслась от страха при мысли о том, что болезнь где-то недалеко, а она долго ходила вокруг и около, да ее и пропустила. Я об этом никогда не думал. Меня это вообще не волновало – мое тело как костюм, который я надевал каждый день и в нем и ходил. А будь в костюме дырки, так дырки можно зашить. Вряд ли однажды он однажды расползется по швам ни с того ни с сего.

– Я не очень хорошая... любовница, – сказала она в другой раз. – Я в основном делала... ну, что от меня хотели.

– А что от тебя хотели?

Она опустила глаза.

– Да разное. Для меня это никогда не было... проблемой. Я только беспокоилась... что у меня не очень хорошо получается.

Я поморщился.

– Я тебя никак не оцениваю. Если это поможет.

Она хрюкнула.

– Кто вообще сказал тебе это все? Что ты плохая?

– Ну... – она замялась. – Бывший говорил, что я неповоротливая. Как слониха. Меня не раскатать. Ему хотелось более горячую девочку. Так он всегда говорил. Ну и получит теперь! – пробормотала она мстительно. – Получит такую горячую, что у него вся задница сгорит! Опомниться не успеет, какая горячая!

– Это бред, – сказал я. – Ты хоть понимаешь, что это бред?

– Понимаю, – отрезала она. – Я же не дура.

– Только не начинай спрашивать, что мне нравится. – предупредил я. – И что надо делать, чтобы мне угодить.

Она не отвечала, и я добавил:

– Ничего не надо делать. Договорились?

Она долго молчала. Так долго, что я уже подумал, что она заснула.

– Совсем ничего?

– Совсем ничего.

Она вздохнула в темноте.

31

Мы отправлялись в поездки. Поездки придумывала она. Каждый раз говорила: «Надо поехать, надо посмотреть». Чуть ли не в ту же минуту, когда ей приходила идея, она открывала чемодан и начинала кидать туда вещи – летом платья, зимой свитеры. Она очень любила платья и свитеры, а уж если платье надеть на свитер, это было лучше всего.

Говорила мне:

– Да ладно. Я поведу машину. Я вожу редко, зато метко! И зачем смотреть на карте – направление подглядел, и уже достаточно!

Так мы оказывались – не приезжали, не прибывали, а именно оказывались – в самых разных местах.

В этом поле я не помню, как мы оказались. Как герои в былинах, наверное – те просто набредают на какой-нибудь дуб и смотрят на него, потирая лоб рукавицей. Или лес, который поворачивается к ним то задом, за которым заходит солнце – и слышно, и видно, как оно заходит, как птицы поют и замолкают перед закатом, – то передом, на котором смыкаются узкие сосны.

Поле не поворачивалось к нам ни задом, ни передом – оно просто лежало перед нами. Раскатанное и простроченное, как ковер.

В детстве я ненавидел пылесосить ковер. Мать заставляла, а я ненавидел. Мне так часто приходилось этим заниматься, что я выучил на нем все ромбы и треугольники. Даже пересчитал – пять было справа, а три слева.

Поле лежало перед нами и слегка покачивалось. Трава колыхалась туда-сюда, и я не мог оторвать от нее взгляд.

Машины по дороге не шли. Она была совсем узкая, а поле наступало на нее с двух сторон. Ни одного дерева, ни кустов, ни леса – только поле. Ровное и огромное.

Она приткнула машину у самого края.

Можно идти далеко-далеко и дойти до самого горизонта.

Пересечь все поле и выйти с другой стороны.

А вдруг оно не кончатся? Вдруг у него там обрыв, как тот, где корабли скрываются с горизонта.

Она шла через высокую траву и оглядывалась на меня. Никого больше, кроме нас, не было. Это было как во сне. Или как в раю.

Ветер трепал ей волосы, трепал края ее платья, оно хлопало ей по коленкам, а она все шла и шла вперед через траву. Платье было белое, с вишенками. Она сомневалась, брать его или нет.

– Такие же совсем молодые носят!

Я сказал «бери».

Теперь я смотрел на ее спину в этом платье и шел за ней. Иногда лезли мысли – а вдруг машину угонят? Вполне могут. Кто здесь ездит? Как мы будем выбираться? Попутку не поймать.

Я шел прямо за ней. В конце концов она прекратила идти и повернулась.

Это был странно кинематографический поцелуй. У меня было чувство, что этот поцелуй происходил не со мной, не конкретно со мной, а с версией меня, с которой я никогда до этого не встречался. Она жила в каком-то другом измерении, эта версия – как еще одна личность, которую она – Лена – вдруг вытянула на поверхность. И она всплыла.

Этот поцелуй был как будто я рабочий, а она колхозница, и я всю жизнь смотрел на эти бронзовые, отлитые из металла губы и мечтал их поцеловать. А потом я ожил, потянулся всем своим металлическим торсом, и губы эти стали приближаться, приближаться, и очертания у них были такие четкие, и я наклонялся все ниже и ниже, все ближе к ним. Этот самый первый порыв, самое первое неловкое движение.

Иногда мне даже кажется, что тогда, именно тогда, я увидел ее в самый первый раз.

Наверное, нужно сказать – я бросил ее на траву. На подоконник, на взбитые подушки, на кастрюлю с борщом. На больничную кушетку. На ступеньки лестницы. Бросил на траву и лег сверху.

Я никуда ее не бросал – мы просто оказались в траве. Вдалеке, кажется, кто-то сигнализировал. Или это птица свистела высоко над полем?

32

Месяца через три мы пошли в театр. Она настояла, и мы пошли.

– Балет, – сказала она, и глаза у нее загорелись, а шея как будто немного вытянулась, и голова стала сидеть более горделиво. – Надо сходить! Такой вечер!

Она надела плотное шелковое платье-футляр – самое нарядное, что у нее было. Накрасилась вишневой помадой – от волнения немного не попадала по губам, но потом торопливо стерла ватным диском.

– Пойдем скорей, пойдем, пойдем, – она вертелась на месте, просовывая ноги в сапоги на каблуках, осматривая свои руки, свои уши, поворачиваясь то одним боком, то другим. Она даже пудреницу достала, и нерешительно посыпала пудрой нос.

Я посмотрел на нее. Никакой разницы не было.

По пути в театр – мы ехали на метро – она крепко держала мою руку и все спрашивала, не забыл ли я билеты. Сумки на вечер у нее не было, поэтому все ее вещи, завернутые в аккуратный полиэтиленовый пакет, вез я.

Когда мы усадились и начали звонить звонки, она вдруг затихла. До этого спрашивала то одно, то другое, а тут вдруг замолчала, и только иногда ерзала туда-сюда в своем кресле, как будто хотела задвинуться глубже, и вертела головой. Мы сидели в самой середине ряда, недалеко от сцены.

Во время первого акта она вдруг взяла и сильно сжала мою руку. Так сильно, что даже кости хрустнули.

Я посмотрел на нее.

Она молча покачала головой – все в порядке.

В антракте она сказала:

– Мне нужно в туалет.

Вокруг было столько народа, что ориентировался я с трудом, но мне все равно показалось, что на лбу у нее выступила испарина.

– Что-то не так?

– Дай мне пакет, пожалуйста.

Она все еще цеплялась за мою руку.

В женский туалет была невозможная очередь. Только когда мы вышли, я разглядел, какая она бледная.

– Давай я поищу туалет для сотрудников?

Она кивнула и прислонилась к стене.

Туалета для сотрудников я, конечно, не нашел, зато нашел небольшой мужской, который был этажом ниже и выходил прямо на лестницу. Там никого не было.

Когда я вернулся, очередь продвинулась – занимала теперь половину коридора, а не весь, но до двери было еще далеко.

– Пошли.

Она не возражала – обычно бы она вскинулась, предложи я ей пойти в мужской туалет.

Даже бы сказала что-нибудь вроде «За кого ты меня принимаешь?!». А я бы сказал, что ни за кого, просто мужиков там нет.

Она вошла в дверь – я остался караулить – и долго не возвращалась.

Так долго, что я заглянул внутрь.

Обычный ряд дверей с раковинами напротив. Писсуар. Белый свет.

Из одной из кабинок доносилось шуршание.

Не знаю, зачем я подумал согнуться и наклониться. Чтобы посмотреть, что там?

Тогда я и увидел пятно крови на полу.

– Лена?

Она толкнула дверь с другой стороны.

Она сидела на унитазе, спустив колготки и расстегнув сапоги, но натянув платье так, что ничего не было видно.

На меня она не смотрела – она смотрела в точку прямо перед собой и наклонилась вперед, почти лежа животом на коленях. Лицо у нее было бледное и замкнутое само на себя.

Я протянул руку и коснулся ее плеча.

– У тебя кровь. – сказал я. – Надо ехать в больницу.

Она приоткрыла губы и пошевелила ими, но ничего не сказала.

– Лена?

Она сильно сжала губы и коротко замычала, как будто с другой стороны напирали звуки, но она не могла дать им вырваться наружу. Потом закрыла глаза. По щекам у нее скатились две струйки слез, и, пока она держала глаза закрытыми, они все бежали и бежали, скатывались по подбородку.

– Не получилось. Не получилось, не получилось.

Она шептала так тихо, что я не сразу понял, о чем она говорит.

– Что не получилось?

Она помотала головой.

33

В больницу мы приехали на такси. Я поймал его, взмахнув рукой, прямо возле театра – спасибо, хоть это было легко. Потом оказалось, что приемный покой вообще с другой стороны, и нам вдвоем пришлось, скользя – я поддерживал ее, чтобы она не упала – обходить огромное и плохо освещенное здание. Пока мы шли в полутьме мимо сплошного некрашеного забора, она снова начала плакать.

– Мы скоро придем. – сказал я ей.

Хотя я не знал, скоро мы придем или нет.

Скучающая тетка в регистратуре посмотрела на нас поверх очков и кивнула на дверь. Дверь была белая и сбоку от регистратуры, но не открывалась, так что я не понял, что она хотела сказать.

– Вы проходите, – сказала она устало и хрипло. – А вы посидите.

И кивнула на железные стулья.

Все было быстро, даже слишком быстро – я только отвел взгляд от ее лица, вытянутого и такого бледного, что оно казалось белее чертежной бумаги, которая была у нас на работе, как пришла высокая сердитая медсестра – я не видел, откуда она появилась, не успел заметить – успел заметить только, что стены окрашены голубой краской, а в конце коридора лифт. Захлопнулась дверь, я остался один, неловко пристроился на неудобный железный стул, второй акт был уже на середине, балерина крутилась, под ней не ломался, а только скрипел пол. Я принялся ждать. Женщина в регистратуре поджала губы, опустила взгляд и больше его не поднимала.

Я специально посмотрел несколько раз в ее сторону.

Она не смотрела в мою.

34

Я до этого мало был в больницах и не знал, как там все устроено. Был один раз, совсем маленьким, когда отец сломал руку и нам разрешили его навестить.

Когда мы пришли, он лежал, держа в руках газету, и лицо повернул в сторону окна, откуда в палату лился синий свет.

Там было еще три человека – мужики примерно его возраста. Один, толстый, ворочался то туда, то сюда, другой, уже совсем старый, сидел неподвижно и смотрел прямо перед собой – я засомневался, видит ли он нас вообще. А третий – третий спал и не то чтобы храпел, но негромко всхрапывал носом, и таким образом создавал в палате хоть какой-то шум, кроме звяканья склянок и веселых возгласов, которые периодически раздавались из коридора.

Мой отец игнорировал остальных трех мужиков, и не то чтобы это осталось незамеченным. Напряжение явно копилось в воздухе, и накопилось его уже так порядочно. Впрочем, как и везде, где оказывался мой отец.

Он был немногословным человеком, и напряжение в любой комнате, где он был, неизбежно создавалось само. Висело, как грозовая туча, а он его никогда не замечал.

– Батя твой ведет себя так, как будто он святой, – сказал мне однажды школьный товарищ, приходивший пару раз к нам домой.

– Мм?

– Да смотрит на всех так, как будто грехи готовится отпускать. Губы поджал, руки сложил.

Почти те же самые слова говорила бабушка, материна мать. Губы поджал, руки крестиком, ишь какой, что ему надо, спроси, аа. Мое есть отказался, говорит, жирное слишком. Так пусть больше не приходит, раз требовательный такой. Пусть больше не приходит. Мне он тут не нужен.

Отец аккуратно держал свою сломанную руку. На его лице не было боли, только сосредоточенность.

Мать подошла, поставила у кровати пакеты, аккуратно пристроив их к тумбочке, и подошла к нему. Хотела поправить майку, потом передумала. Взяла его за руку.

Отец медленно перевел взгляд на нее. Окинул и меня – я стоял, прислонившись к стене и подогнув одну ногу под себя, как я тогда любил. Я сказал ему «привет», когда вошел. Но он даже и не подумал мне ответить.

– Ну. Как вы?

– Мы хорошо! – облегченно сказала мать. И принялась тараторить – она всегда много тараторила, пока отец молчал. И чем дольше и многозначительнее он молчал, тем больше она тараторила.

– Скоро тебя отсюда выпустят? – спросила она наконец, выдохшись.

– Скоро, – сказал он также медленно. – Выпрямись.

Это уже мне.

Я разогнул ногу.

– Так лучше. – сказал отец. – Стоишь весь горбатый.

– Рука болит? – спросила мать.

Отец посмотрел на нее снисходительно.

– Тут у всех что-то болит. – сказал он.

Мать, похоже, не знала, что на это отвечать.

– Это больница, – уточнил я из-за ее спины.

Сейчас скажет что-нибудь про то, что болезнь – часть человеческой души. И что если бы все не так бегали от боли, было бы гораздо лучше. Потому что убежать от нее нельзя. Он любил задвинуть что-нибудь такое. С совершенно ровным, бесстрастным лицом.

Мать, похоже, не знала, что еще сказать.

Отец продолжал смотреть в окно.

– Принести тебе чего-нибудь.... Покушать из дома? Грибочков хочешь? Соленьких? Или голубцы?

Отец усмехнулся.

– Спасибо, – сказал он. И слегка наклонил голову, как будто благодарил за оказанную ему честь. – Спасибо, Марина.

Он всегда называл мою мать по имени. Никогда «дорогая» или «любимая» или что-то в этом роде. Я вообще не уверен, что отец хоть кому-то в своей жизни сказал «любимая». Его губы, аккуратно сжатые в ниточку, теперь не выговорили бы такого слова.

Мать еще покрутилась около него и в конце концов ушла в коридор, «искать медицинский персонал». Он аккуратно повернул голову в ту же исходную позицию, где она изначально находилась – на три четверти, зимний свет падал прямо на скулу – и продолжал смотреть в окно.

Не отрываясь от него, он сказал:

– Подойди-ка.

Я подошел – таким образом, чтобы он мог меня видеть. Голову повернуть он, конечно, и не подумал.

Отец провел по мне глазами.

– Встрепанный какой-то. И штанину поправь. Чем занимаешься?

– В школу... хожу. Мы сейчас митохондрии проходим, – сказал я первое, что пришло в голову. – И это, как его. «Горе от ума».

– Наизусть мне прочитать можешь что-нибудь?

Отец спрашивал ровно, без единой тени интереса.

Я поискал в памяти. Пришло на ум только:

– Тучки небесные, вечные странники, далью лазурною, далью небесною....

Дальше я не помнил.

Поверх отцовской головы я увидел, что толстый перестал шебуршиться из стороны в сторону и оглянулся на нас.

– Это не из «Горя от ума», – с неудовольствием заметил отец. – И когда ты научишься стихи читать? Я же тебя учил.

Я пожал плечами.

– Ну там вроде так было.

Отец поджал губы так, что они стали еще тоньше, и собирался было еще что-то сказать, как в палату вошла веселая медсестричка с волосами, собранными в хвост, в белой форме и войлочных тапочках, которые противно шаркали по полу. За ней семенила моя мать.

– Ну, что тут у нас?

Отец с неудовольствием повернулся.

Как раз в этот момент я вспомнил отрывок из «Горя от ума». «Где, укажите нам, отечества отцы, которых мы должны принять за образцы?».

Я шучу. Было бы слишком хорошо, если бы я прямо там это вспомнил.

35

Она вышла из белых дверей, и у нее было другое лицо.

Я не мог понять, что в этом лице было другое – оно больше не было напряженным, не было закрытым, но оно было другим.

Вслед за ней вышла высокая сердитая медсестра.

– Покажетесь на следующей неделе... А, – она увидела меня. – Это муж ваш? Что ж вы его не позвали?

Медсестричка приблизилась и сунула мне в руки какие-то бумаги. Я машинально взял. Поясница у меня ныла от долгого сидения, а ноги затекли.

– У вашей жены был выкидыш, – сказала она. – Потеря ребенка – это то, с чем сталкиваются многие пары.

И потом прибавила, не посмотрев на меня:

– Сочувствую вам.

– И покажитесь на следующей неделе! – это уже ей.

Медсестричка ушла.

Она по-прежнему ничего не говорила. Осторожно, опираясь одной рукой, села на стул и тяжело привалилась ко мне боком. Не прислонилась, а именно привалилась.

Не знаю, отчего, но она показалась мне такой тяжелой, что стало казаться, что сейчас под ее весом я слечу с железного сиденья.

Вокруг пахло больницей и звучало тоже как в больнице. Но только не той, где кого-то героически спасают. Спасают только в сериалах, а эта обычная, где на тебя смотрят вскользь и проходят мимо. Залоченный персонаж ушел обратно – на задний план. Тут только травка растет, а все, кто скользят по травке своими аватарами – не более чем привидения.

Что за чушь лезет в голову.

– Пойдем отсюда?

– Вызови нам такси. Не хочу больше здесь оставаться.

– Да, – сказал я. – Да, конечно.

36

Когда мы вернулись, она сказала:

– Не зажигай свет.

Я пожал плечами и не стал зажигать свет в прихожей. Вместо этого прошел и зажег его в большой комнате. Оттуда в прихожую пролегла желтая полоска света.

Еще в такси она расстегнула сапоги, и теперь стащила их первыми, швырнув под зеркало.

Я еще не спал, когда она пришла и, подняв толстое пуховое одеяло, улеглась рядом со мной.

Видимо, она почувствовала, что я не сплю.

Некоторое время мы оба лежали, уставившись в потолок.

– Платье испорчено. – сказала она бесцветным голосом.

– В смысле.

– Пятно. Крови. Надо сдавать в химчистку.

– А.

Я хотел сказать, что оно же черное, и наверное, не видно. Потом подумал, что не стоит. Вместо этого я сказал:

– Отчистят. Они хорошо чистят.

– Да.

Она помолчала.

– И второй акт не посмотрели.

– Да.

– Там, где ее соло. С веером. Мне его хотелось посмотреть.

– Да.

– Столько поворотов...

– Фуэте, – поправил я.

– Пятьдесят шесть. Или тридцать два? А мы не посмотрели.

Она зевнула.

В итоге она все-таки заснула.

Я слышал, как ровно и мерно она дышит.

Мне все не спалось, хотя обычно я падаю в сон моментально и сразу далеко, как камень падает в пропасть. Скрываюсь в расщелине, и меня уже не поймать. Погружаюсь в темноту.

Я думал о том, что можно было бы ей сказать. Но на самом деле я об этом не думал. Думать об этом было незачем. Все равно ничего бы не придумалось, ничего бы не пришло мне на ум, кроме самых небольших деталей – водителя, который вскинул руку к плечу, не оборачиваясь, чтобы расплатиться наличкой, – даже верхний свет не включил, зараза, и она поскреблась в закрытую дверь – как будто мы выскочим из его колымаги, не

заплатив! – и я чуть не обматерил его, но, передумав, всунул в поднятую пятерню засаленные купюры и вышел сам, и обошел машину, чтобы подать ей руку. Рука ей была нужна – так бы она бы вывалилась из машины на снег. Она так тяжело оперлась на нее, что я подумал – вот сейчас подогнутся ноги, она упадет на обледеневшую дорожку, что я буду делать – в дворе не было никого, а машина уже начала отъезжать.

Но она сдержалась. Дошла до подъезда. В лифте она прикрыла глаза, одной рукой держась за стенку, а другой – за меня. Ресницы у нее на щеке оставляли синюю тень.

Прошло несколько часов, а я помнил только это. Сердцевину горя я не помнил, сердцевину горя почти сразу вытаскивали, чтобы оно, видимо, не проигрывалось туда-сюда, туда-сюда, пока я поднимаюсь, чищу зубы, переливаю кипяток из чайника в чашку, еду на работу, меряю мостовую шагами, залезаю в автобус и сгибаюсь под ветром. Я помню только это, а остального не помню. Наверное, оно сразу же засунулось на самую дальнюю полку, или – лучше – его засосало в черную дыру.

Говорят, люди бесконечно переживают момент, когда это с ними случилось. Бесконечно переживают новость, которая пришла лишь однажды – столько дней, сколько после нее проходит, столько и переживают раз.

Со мной не случилось ничего подобного.

В конце концов я просто заснул.

37

Утром она открыла глаза и сказала:

– Знаешь, что мне снилось?

Без всяких предисловий и глядя в потолок. Она казалась совершенно бодрой, неестественно бодрой, без тени своей обычной утренней неуклюжести, как будто ее взяли и за ночь выстирали с применением белизны.

Я не стал спрашивать, и она сказала, не прекращая смотреть в потолок:

– Он.

Я ничего не ответил. С меня сон еще не слетел, и я еще чувствовал, как тепла подушка. Комнату из-под штор заливал серый утренний свет.

– Я держала его на руках. Мальчика. А потом у меня его отняли! Представляешь?

Она сощурилась, вспоминая.

– Симпатичный. С завитком на лбу. Глаза серые. На тебя вообще не похож.

– Ну спасибо, – сказал я.

– Я держала его в руках, – она продолжала, не обращая на меня никакого внимания. – Держала и качала. Туда-сюда. Туда-сюда. Огромный такой сверток. Бело-голубой. И серый. Немного. У меня в руках почти не помещался.

Она замолкла, и я спросил:

– А потом?

Она покачала головой.

– Он исчез. Руки пустые. Я везде смотрю, а его нет. Представляешь? Бегала, везде искала, а его нет. Я еще во сне, помню, ищу и думаю, черт возьми, куда же он делся. А потом просыпаюсь. Ужасно. Вся в холодном поту.

– А чувство осталось. Оно еще здесь. – она дотронулась до лба и потом до груди, как будто собиралась перекреститься. – Как будто кто-то сидит на руках. Странно.

– Угу. – Я протянул руку и взял ее ладонь поверх одеяла. Ладонь была очень горячей.

– У тебя температуры нет?

– Не знаю. – она на секунду закрыла глаза. – Пойду проверю.

И, тяжело перевалившись, как неваляшка, села на кровати.

38

Когда выяснилось, что надо колоть ей уколы в живот, я сказал:

– Я не буду.

– Что значит – не будешь?

Она достала их и разложила на кровати. Шприцы, жидкость, таблетки – все аккуратно запечатанное в пластиковые упаковки.

Она стояла и смотрела на все это, нерешительно брала инструкцию в руки, потом снова клала на кровать. Между бровей у нее залегла складка, которая появлялась там, когда она не знала, что делать, или в чем-то сомневалась.

Я сказал:

– Я не буду.

Она поморщилась.

– Я смотрела видео. Это не так уж... и сложно.

Живот у нее был рыхлый и белый. Совершенно неспортивный. Когда могла, она старалась не обнажать живот, но тут задрала майку и прихватила ее подбородком. Совсем снимать не стала. Живот теперь был обнаженным – дрожащим и белым. Когда мы были в постели, я иногда проводил по нему рукой.

Она аккуратно, как говорилось, надорвала упаковку. Набрала жидкость в шприц. Руки у нее немного дрожали.

– Я чувствую себя как наркоманка, – сказала она нерешительно. – Только не в вену.

И добавила, с нервным смешком:

– Но я бы и не нашла вену.

Она поднесла шприц к коже.

– Вот черт.

Рука у нее дрожала так сильно, что даже я заметил.

В конце концов она села на кровать и заплакала. Она плакала и плакала, шприц валялся рядом, а плечи у нее мелко тряслись.

Я сел рядом и неловко обнял ее за плечи.

Они затряслись еще сильнее.

Я чувствовал, как она плачет.

Я чувствовал, как у нее по щекам катятся горячие слезы.

Я чувствовал движение мира, но мир в этот момент мир не двигался. Только она плакала.

– Придется найти медсестру, – сказала она сквозь зубы. Я не видел, как слезы катятся у нее по щекам, но представлял. – Я не могу. Черт возьми.

Медсестра оказалась сухопарой женщиной с лошадиным лицом, которая приходила к нам каждый день. Уколы она ставила быстро и эффективно – Лена взвизгивала, коротко и тонко, как собачка, которой наступили на хвост. Потом, пока медсестра собиралась, натягивала туфли и давала ей какие-то советы, Лена смеялась и шумно извинялась:

– Извините, я вам тут такое устроила! Извините меня! Я как ребенок, ну право слово!

На следующий день все начиналось сначала.

Я спросил у нее:

– Больно?

Я не знал, как еще спросить.

– Помоги мне платье застегнуть.

Платье было ей мало, но я подошел и послушно взялся за края ткани, к которым была пришита молния, с силой свел их вместе – она охнула.

– Неужели я так растолстела, а! Как тесто просто расширяюсь!

С трудом удерживая края платья, я стал тянуть молнию вверх. Дотянул. Вроде застегнулось.

– Спасибо.

Она оттянула край юбки пониже, набросила пальто и поспешно намотала сверху длинный розово-коричневый шарф.

– Ты знаешь, не очень. Больно, – сказала она, подумав. – Привыкнуть можно. Это как к стоматологу ходить. Вначале боишься ужасно. Но если надо долгое лечение проходить, к третьему разу уже устаешь бояться. Какого черта, в конце концов?

– Правильно, какого черта. – согласился я.

– И потом, это только один цикл. – сказала она, подойдя к зеркалу и критически в него смотрясь. – Ну, может два. Не так уж и долго!

39

Как-то раз утром я вышел на кухню и увидел, что она плачет. Я спросил:

– Ты чего?

Она всхлипнула и помотала головой.

– Ничего.

Волосы у нее растрепались и распутались, и в утреннем свете казались сероватыми. Она сидела, не поворачиваясь ко мне и положив голову на руки. Когда я сел рядом и немного сощурил глаза, ее гладкие и белые локти показались мне похожими на кегли.

Она откашлялась и сказала внезапно серьезно:

– Тебе надо сдать сперму.

Я еле удержался, чтобы не рассмеяться.

– И ты поэтому плачешь?

Она хихикнула.

– Не поэтому. Но сдать надо.

– Это не больно, если что, – сказал я. – Насчет этого ты в курсе? Надо помастурбировать в стаканчик, и все. Нужна только сила воли.

Она засмеялась и ухватила за мою руку, сделав вид, как будто падает. Она часто так делала. Она никогда не падала по-настоящему. Но я приучился ее ловить.

– Когда сможешь в клинику съездить? Чаю хочешь, кстати?

– Хочешь, – сказал я.

А потом добавил:

– На неделе смогу.

Она поднялась, тяжело опираясь двумя руками на стол. Заглянула в чайник.

– Больше нет. Надо поставить опять.

– Я подожду. Тебе же на работу еще не скоро?

– Нет.

Кнопка щелкнула. Вода полилась, потом забурлила, потом забулькала, стремясь вырваться.

Все было как обычно.

40

Сдаваться я пошел в обычную больницу – ступеньки из плитки, пандус, наполовину покрытый снегом, и коридоры, по которым шаркали в бахилах напуганные тетki, которые прихватывали одной рукой свои медицинские карты, а другой сумки, и, когда поднимались со стульев в коридоре, тяжело переваливались из одной стороны в другую.

Я никогда не думал, что в обшарпанных кабинетах есть что-то страшное – тут они были не обшарпанные, а очень даже вымытые и выкрашенные белой краской.

Комната смешно называлась «Спермосдаточная». Не встретить я Лену, я бы и не узнал, что существуют такие комнаты. «Заборочная», наверное. Пройдет лет сорок, и будет «клонировочная». Тудаходишь один, а выходят двое Константинов. И отправляются в разные стороны. Почему бы и нет. Еще будет «восстановительная», где можно обратно нарастить орган или чего-нибудь еще, чего не хватает. Будет комната для омоложения, для поворачивания жизни вспять, и такая, где будут выдавать уже готовых и генетически своих детей. Хотел бы я, чтобы была такая комната?

Но на данный момент есть только эта, где я сдаю свой, как это тут называется, генетический материал.

Мне сказали что делать, выдали пробирку, проводили в комнату за шторкой. Шторка периодически колыхалась. Сосредоточиться там было сложно, потому что я нет-нет, да и смотрел на шторку – она была бежевая и ячеистая, и колыхалась, и периодически мне казалось, что она сдвинется и из-за нее кто-то выйдет и спросит меня, пока я стою со спущенными штанами – а что это вы тут делаете?

И мне нечего будет ответить. Пытаюсь, я бы сказал. Пытаюсь даже не потому, что она меня попросила – я мог бы отказаться.

У меня получилось совсем не сразу. В какой-то момент я перестал думать. И на бежевую шторку смотреть перестал. Иногда мое тело делало что-то такое, что меня

удивляло и я не мог понять. Давало о себе знать, хотя я привык воспринимать его как механизм, которые никогда не дает сбоев.

– Вы там долго. – сказала медсестра недовольно.

Я не нашелся, что ответить. Можно было придумать шутку, но ничего не шло на ум.

– Так. Только посмотрим вас и сразу отпустим, – сказала она.

Пришлось опять снимать штаны. Странное чувство.

41

В конце концов выяснилось, что с моей спермой все нормально.

– Совершенно нормальная спермограмма, – сказала молодая врач. Она была похожа на ту, сердитую, в ночь балета и пятидесяти двух фуэте, которые нам пришлось делать сначала в туалете, потом в такси, а потом на обледенной дорожке перед подъездом. – Даже обычная. Совершенно стандартная! Никаких отклонений!

Она горестно вздохнула.

– Значит, все дело во мне?

Врач посмотрела на нее.

– Ну что ж, – сказала она, открывая папку, которая лежала у нее на столе. – Давайте посмотрим.

42

– По-моему, меня нет, – сказала она мне однажды. По глазам я видел, что она плакала. В последнее время у нее часто были водянистые глаза. Вокруг них собиралась краснота, и морщинки в углах глаз, которые я разглядывал просто по привычке, потому что так давно ее знал, что лицо ее стало распадаться на элементы: подбородок, изгиб скулы, прядь пепельных тонких волос, которые в утреннем свете казались седыми. Это ее не портило. Это ее даже не старило. Хотя она сердито закалывала прядь очень близко к голове, как будто хотела сказать «тебе тут не место».

Она отпила из кружки и поставила ее обратно на стол.

– По-моему, меня нет. У меня, – она произнесла это с усилием, – не получается. Не получается...

Она покачала головой.

– Каждый раз как будто разгоняюсь и еду в стену. Разгоняюсь и в стену. В стену. – Она сжала кулаки. – Когда я уже проеду через эту чертову стену? Когда?

Она сердито и кротко вдохнула, и посмотрела в чашку.

– Иногда я иду по улице, говорю с кем-нибудь, и у меня такое чувство, что все наполненные, а я пустая. У всех внутри что-то есть, а у меня одна полость. Полость...

Я протянул руку и коснулся ее пальцев своими. Они были очень холодные.

– Как будто бы я пустая. И всегда была пустая. И всегда буду пустая. Даже когда если внутри меня что-нибудь и... появляется, – она выговорила это с усилием, – то его сразу же... ну... оно...

Она мотнула головой. В чашке больше ничего не оставалось.

Я крепче сжал ее пальцы. Мне почему-то пришло в голову – я представил – как струйка крови бежит по боку глиняного сосуда. Сосуд нежной, кремового цвета глины.

Неровной, потому что только-только сделан. Струйка крови бежит и застывает. Это нестрашная кровь – хотя мне вообще, наверное, повезло, что я не боюсь ее вида.

Внутри сосуда полое пространство. Туда даже руку нельзя засунуть – такое узкое горлышко. Как те стаканы и заварочные чайники, в которых я никак не мог засунуть пятачку, когда была моя очередь отмывать оттуда чайные разводы.

Но струйка крови не оставляет разводов. Она бежит-бежит и исчезает навсегда.

– Я ведь не прозрачная, – сказала она совершенно серьезно. Тон у нее был как у отличницы, которая подняла голову от учебника и говорит учителю точный, совсем неопровержимый факт. – Я не прозрачная.

И, поднявшись из-за стола, пошла мыть свою чашку.

43

Был период, когда мы об этом не разговаривали. Тогда я понял, что значит выражение «висит в воздухе».

Когда-то я читал про дамоклов меч. Кажется, в одной из книжек, которые выудил с материной книжной полки. Книжки меня особо не интересовали, но иногда мне было скучно.

«Дамоклов меч» было написано там. И нарисован царь, которые сидит на своем троне – трон выглядел правдоподобным, – а над ним висит и болтается острый меч с янтарной рукояткой. Меч мне очень понравился. И несмотря на то, что подвешен он был на волос, мне не показалось, что он так уж легко свалится. И потом, даже если он свалится, разве он убьет царя насмерть? Может быть, просто оставит ему на лице длинный и некрасивый шрам.

Меч висел, но волос был прочный. Я иногда поднимал на него глаза. Возможно, нам стоит научиться воспринимать его просто так украшение.

Но она-то – я знал, что она воспринимает его не просто как украшение. Она тоже его видела – и отводила глаза, и упорно, сосредоточившись еще сильнее, чем раньше, занималась своими делами.

44

– Слушай, давать жить без этого, – сказал я ей как-то.

– Без чего?

– Без детей. – сказал я.

Она посмотрела на меня, как будто не видела.

– Нет. – сказала она. – Нет.

– Может, мы недостаточно пытаемся. – сказала она в другой раз. – Должно же быть какое-нибудь объяснение, почему.

– Почему что?

– Почему не получается. – Она смотрела прямо перед собой. – Наверное, мы только скребемся в дверь, а надо дергать ручку. Надо раскачивать ее, высаживать плечом. Что-то такое делать, активное, чтобы она наконец поддалась. Понимаешь?

– Понимаю, – сказал я. Дверь я представлял очень хорошо. В моем воображении это была довольно хлипкая, оклеенная синтепоном дверь. С пуговками. Через щель под

ней был виден свет изнутри квартиры. Можно было понять, дома кто-то или нет. Дома кто-то был, это я точно знал.

– И раз, и два... – она шевелила губами. – Должен же быть какой-то выход. Ну правда, должен же, ну должен же быть хоть какой-то выход.

– Вход. – поправил ее я.

Она не услышала.

45

Мне надо было ей объяснить, но я не знал, как.

Она обнимала меня, молчала и часто дышала. Мы стояли так, слегка покачиваясь, посреди комнаты.

– Понимаешь... – сказал я наконец. она замерла. – Понимаешь. Ты как будто думаешь, что есть какой-то... счет. По которому тебе не выдают. Ребенка.

Я с трудом выговорил это слово.

– Тебе как будто его не выдают, а ты пытаешься выбить долг. Как будто это посылка, которая не пришла, что ли! Понимаешь?

– Что ты хочешь сказать? – она отлепилась и посмотрела мне в глаза. – Что мы попытаемся перестанем? Не перестанем. Не перестанем, и до тех пор, до тех пор, пока... не выйдет, не перестанем!

Она смотрела на меня исподлобья. Взгляд у нее горел.

– Просто нет никакого счета. – сказал я. – Никому ничего не обещали. Нет никакой... удержанной задолженности. Так это называется?

– Не так. – она скрестила руки на груди.

– Нет никакого объяснения. Нет ответа. Ничего этого нет.

Я видел, что делаю ей больно, но все равно говорил. Я редко так делал. Только когда надо было.

– Пошел ты! – выдохнула она мне в лицо. – Пошел ты со своими теориями!

– Это у меня теории?

– Пошел ты с своими «ничего не гарантировано»! Ничего! Ничего! Ты вообще ничего не понял! Они все сказали, что это возможно! Возможно! Мне еще не сорок! Почему это должна быть я, а, у кого не получается? Почему я? Ни черта! Ни черта это не буду я! Вот увидишь!

Тем вечером, в ванной, она плакала так, что мне пришлось стучать и стучать, добиваясь, чтобы она мне открыла. Ее рыдания доносились через покрашенную белую дверь, и я смотрел в эту дверь, на краску, которая кое-где облезла, пока стучал. Я барабанил в нее пальцами, пока та не открылась.

Дверь чуть не ударила мне по подбородку – а она, высоко подняв нос, пронеслась мимо.

– И что! И что! Не смотри на меня так! Это все стресс.

Но в спальне, когда мы «попытались» снова, она снова начала плакать.

– Ваша жена пережила травматическое событие, – сказал психолог.
Вот идиот, а. Это я и так знаю.

Не помню, почему решил все ему рассказать. Это был просто медосмотр. Обойти нескольких специалистов, подписать больничный лист, в разных кабинетах. Кабинеты были одинаковые. Лица у всех тоже были одинаковые. А у него, видимо, какое-то не такое. Другое лицо.

Рассказывал я недолго.

Сказал, что у нас не получилось. Сказал, как. Странно, когда я это говорил, я параллельно подумал – что у нас не получилось? Разве у нас что-то не получилось?

Он помолчал и постучал ручкой по столу.

– Я понимаю.

А потом:

– Вам необходимо поддерживать вашу супругу.

– Как?

Он, казалось, смутился. Я почти ждал, что сейчас он скажет: «А как, вы думаете, нормальные люди это делают?» И я с чистой совестью смогу дать ему кулаком в физиономию.

Но вместо этого он сказал:

– Слушайте ее. Поддерживайте. Позволяйте ей говорить о своих чувствах.

– А она не говорит о своих чувствах.

– Вот вы, окажись в такой ситуации, говорили бы о своих чувствах? Может, бегали бы по городу, орали и хватали бы людей за рукава, спрашивая: «Ты меня видишь? Ну хоть ты меня видишь?» И никто не видит, понимаете? Всем наплевать.

Он снял очки и повнимательнее взгляделся в меня.

– Она говорит с вами... о произошедшем?

– Нет.

– Ей нужно это выразить, понимаете? Найти форму, в которой она сможет выражать. Писать дневник. Рисовать картины. Вязать. Шить. Бить подушки. Петь! Очень помогает пение.

Она раньше пела в хоре, сказал я.

– О, отлично! А почему перестала?

Я посмотрел на него.

– Скажите ей, чтобы снова попробовала. И вам нужно быть рядом с ней. Быть ей опорой. Понимаете?

– Я и так... рядом.

Я вспомнил один наш разговор, пока он это говорил. Она лежала ночью, натянув одеяло на подбородок. Глаза у нее были открыты.

– Я пойму, если ты от меня уйдешь. – сказала она. Потом добавила как ни в чем не бывало:

– Со мной тяжело. Когда я... не получаю чего хочу. Но я правда хочу. Так что, если ты уйдешь, – она запнулась, но только на секунду. – Я понимаю... я могу понять. Всем хочется более легкой жизни.

– И ты не будешь говорить, что я мерзавец? – я улыбнулся.

Мои руки лежали поверх одеяла.

– Конечно, буду, – ответила она серьезно. – Мерзавец. Красивое слово.

Потом вздохнула и добавила:

– Но мужчины справляются хуже женщин. Все говорят, вот он ушел от нее, он ушел от нее. А я иногда думаю – ну ушел. Может так им двоим было лучше. Никогда не думал об этом?

– Нет. – Я смотрел в потолок. – Никогда.

– Но я никуда от тебя не уйду, – сказал я и повернулся к ней. – Даже не надейся.

– Почему?

Голос у нее звучал незаинтересованно.

И я сказал единственное, что пришло мне в голову.

– Не хочу.

Психолог пожал мне руку – его ладонь была мягкой, но приятно сухой. Он проводил меня до двери.

– Я желаю вам удачи, – сказал он.

Мне показалось, искренне.

47

У нас так и не получалось.

Она днем и ночью читала какие-то статьи, учебники, просматривала в сотый раз ту же схему органов таза и тыкала в них пальцем, как в свои документы по работе, что вечно разваливались у нее на столе. То молчала целыми днями, то, обхватив себя руками, ходила из одной комнаты в другую, трогала предметы, с неудовольствием пихала их на свое место, снова ходила. Нашла в глубине шкафа уже отживший свое флакон духов, пахнущий сдавленным вишневым запахом, понюхала его и швырнула в мусорное ведро.

– Что за... – она морщилась и продолжала ходить. – Что за....

То принималась приставать ко мне с каким-нибудь новым, натуропатическим решением, согласно которому надо впустить внутрь себя силу счастья и белый свет.

У нее была эта способность – создавать вокруг себя кольцо. Иногда кольцо сужалось, иногда расширялось, иногда включало и меня тоже, а иногда только ее одну. В это кольцо было не пробиться, если она не хотела. Иногда в него было вообще не пробиться. Иногда я и не пытался.

Она даже к гадалке пошла. Или ведьме – понятия не имею, как они правильно называются. Поехала в какую-то деревню к бабке, наверняка на той маршрутке, которая идет с неудобной установки на другом конце города. Еще и сумку свою рабочую прихватила, и наверняка так и сидела с ней, неудобно прижав к животу, потому что не заезжать же домой и не оставлять ее, а потом объяснять мужу – то есть мне – куда она едет.

– Еще гадалок нам не хватало, – сказал я. Я так устал, что еле заметил ее, когда она вернулась.

Я вообще в последнее время очень уставал. Усталость висела надо мной и туманила голову, я не мог толком соображать, не мог ничего обсуждать, мне хотелось доплыть, догresti уже до какого-нибудь места, где все было хорошо. Я даже почти видел сизые волны и желтый песочек. Добраться бы до песочка. Только добраться бы.

– Такая женщина, – я наконец расслышал, что она говорит. Сколько я уже слушал ее? Минут двадцать? Тридцать? – Такая. Не старая. Не бабка. Не знаю, почему все говорят, что она бабка, но она не старая еще. Ей лет сорок.

Я отхлебнул чаю. Оказывается, передо мной был чай.

– Так вот, она вначале раскинула эти свои... карты. Свечки горят везде, страшно, темно очень. Деньги сразу берет. Многовато, конечно, но я взяла, что делать... Потом руку мою посмотрела, и еще раз карты разложила, и зеркало у нее еще было вроде. Что-то с зеркалом делала.

– Что делала? – спросил я без особого интереса.

– Да откуда я знаю, – она отмахнулась. – Главное в руке было. Или в картах. Она сказала, что судьба меня завела не туда. Или все... зашло не туда. Пошло не туда. Так она сказала.

– В смысле не туда?

– Года два назад... должно было пойти так, а пошло не так... не так. – Она сощурилась.

В голове у меня что-то жужжало. Мягко, успокаивающе. Я слушал ее через этот гул и думал – надо же. Дичь какая.

– И вот с того... с того дня, как все не так пошло... все так получилось, что я теперь... ну, если я не прекращу двигаться туда, куда двигаюсь... Вернее, она сказала... – Она нахмурилась и взялась рукой за лоб. – Идти в тупик. Кажется, так. Нельзя идти в тупик.

– Мм.

Мне надо было спросить, какой тупик, но она все вспоминала.

– Я все спрашивала у нее, какой тупик, но она только сказала, что... что тогда все было не так, то есть пошло не так, и поэтому я... я... Ой, кстати, и сущностей на мне нет!

Я поднял голову. Мне казалось, что моя голова все это время висела над столом, и опускалась, вместе с плечами, все ниже и ниже. Еще чуть-чуть, и я клюнул бы в чай носом.

– Чего на тебе нет?

– Сущностей! – заявила она победно. Лицо у нее было такое, как будто все прояснилось. – На мне нет сущностей! За мной не ходят покойники! Никто во мне не сидит! А я иногда по ночам вскакиваю, и мне дышать так тяжело, что кажется – точно сидит! Точно сидит! А она сказала, что нет!

– Лена, – сказал я. – Что ты придумываешь? Какие сущности?

– Ну эти. Она их так называет. – она, казалось, смутилась. – Которые к людям подселяются. И живут. И паразитируют на них. Я думала, поэтому у нас и нет... детей, что на мне одна такая... ну. Сидит.

– У тебя нет детей, потому что у тебя медицинский диагноз. – отчеканил я. – Он написан в твоей медицинской карте. Если хочешь, можешь посмотреть.

Мысль о покойниках, которые должны ходить за ней толпой, видимо, занимала ее очень сильно, поэтому она не вскинулась, а только посмотрела на меня обиженно.

– Почему ты говоришь «у тебя»? У нас нет детей. У нас.

– Ну ладно, – согласился я. – У нас.

48

Мы уже укладывались спать, когда она сказала:

– Все-так что-то есть. По-моему, что-то есть.

Я не стал прикидываться, что не понял.

– У этой бабки?

Она не ответила, только попышнее взбила подушку.

– У этой бабки что-то есть? За ней, видимо, целые толпы покойников шатаются. Еле отбиваться успевают.

Она меня проигнорировала.

– Энергетические дыры.

– Что?

– Она сказала, что у меня энергетические дыры. Я сама себе образовала энергетические дыры. Как-то так она сказала. И через них утекает... как-то она это выразилась... шестерка пик... или что-то другое с пиками? Не помню.

Она зевнула и поудобнее устроилась на подушке. Я осторожно обнял ее сзади – обеими руками.

– Давай сегодня попробуем, – сказала она счастливо. – Я чувствую, сегодня может... ну, после того, что она... сказала. Может получиться.

Через минуту она уже спала.

49

Эта гадалка потом еще несколько раз всплывала. Лена бормотала под нос то, что та ей сказала, и отказалась пояснять, что – видимо, заклинания, которые та ей насоветовала. Но все пошло еще дальше. Однажды, роаясь в шкафу в поисках своей зеленой рубашки в полоску, я обнаружил там детский комбинезон. А еще – я протянул руку и вытащил их – носочки и ботиночки, которых там раньше не было. Они были аккуратно запрятаны в самую глубину.

Когда я въезжал в эту квартиру, их здесь не было.

Когда мы начинали жить вместе, их здесь не было.

– Лена!

Она прибежала. В руке у нее была лопаточка для переворачивания блинов, а косынка, повязанная поперек лба, сползала, и она поправляла ее тыльной стороной ладони.

– Если начнешь сыпать соль в мои вещи и брызгать кровью, мне скажи предварительно, ладно?

Я очень старался не повышать голос. Получалось не очень.

Она ничего не говорила. Только хмурилась и смотрела то она комбинезон, то на лопаточку у себя в руке.

– Что это за хрень? – я смотрел на нее. Комбинезон я аккуратно положил на кровать – Скажи мне, что это за хрень?

– Хороший комбинезон. – сказала она тихо. – Пригодится.

И подняла на меня глаза. Потом неловко обняла. Она почти никогда не обнимала меня первой. Всегда была вежлива, всегда предоставляла мне возможность сделать первый шаг.

– Ну и пусть, что я сошла с ума, – сказала она, уткнувшись мне в плечо. – Ну и пусть, что я спятила. Я чувствую его. Мне так легче. Ты что, не можешь понять, что мне так легче?

– Нет, – сказал я сердито. – Не могу.

– Ну и ладно, – сказала она примирительно. – Просто позволь мне сходить с ума, ладно? Каждый справляется по-своему.

– Если я позволю себе сойти с ума, ты совсем съедешь с катушек. – я покачал головой. – Будешь после работы шататься по улицам и кричать, что они уж близко, конец уже близко, и скоро настанет ад и апокалипсис начнется. И на работе все будут спрашивать, почему я женился на сумасшедшей.

– Кричать не буду, – сказала она. – Ненавижу кричать. И скандалить. Вообще крик ненавижу.

Я не стал ей напоминать, как она кричала, когда после гормонов у нас тоже не получилось. Я не должен был слышать – она вышла в хилый больничный садик и подошла к самой ограде. И думала, что за дверью – «Для персонала» было на ней написано – никакого нет. За дверью с надписью «Для персонала» был я. И я слышал, как она кричала. Все мое тело рванулось, чтобы ее защитить. Но я стоял там, пялился на хлипкие перила, состоящие из одной проволочной перекладины, и держался за них рукой, и сильно сжимал кулак. Что мне было делать?

Нет никакой инструкции, которая говорит, что в таких случаях делать. Понимаете? Ее нет.

– Говорить, что они скоро придут, тоже не буду. – сказала она. – И потом, я не знаю, кто такие «они».

– Инопланетяне? – предположил я.

Она, казалось, не слышала меня.

– Ты не думай, что у меня совсем... крыша едет. Я сама иногда так думаю. – Тон ее звучал задумчиво. – Иногда я сама так думаю. А потом поработаю, и вроде нет, нормально. А к бабке я просто так ездила. Чтобы, ну... все варианты попробовать. И не так уж там и страшно. От свеч этих ее и зеркал, конечно, не по себе.

– Может, в церковь сходить?

Я сам не знаю, зачем это предложил.

– Я уже была, – сказала она удивленно. – Батюшка сказал, что повенчаться надо. Во грехе живем.

Я чуть не сказал «ну значит, повенчаемся». Но вовремя захлопнул рот.

По-моему, под конец она верила, что может вытащить ребенка из пустоты. А потом, не знаю как, не знаю в какой момент, она стала верить, что в эту пустоту должна уйти она сама. К невидимому кому-то, который где-то там, на другой стороне, и ждет ее, и один на автобусной остановке, и вертит головой, и поправляет шарф, и топает толстыми ножками в резиновых сапогах, и варежка падает на асфальт, и некому подобрать. Долго ему еще там стоять? Она должна идти.

Когда пришли новости, что она больна, а потом пришли, чем, она, казалось, нисколько не удивилась. Она сидела, выпрямив спину и сложив на коленях руки, а врач смотрел на нее сочувственно. Я сидел чуть позади. Она склонила голову, очень для нее нетипичным жестом – как королева, которую сейчас поведут на эшафот. В простой серой рубашке, волосы стекают по груди двумя золотыми потоками. Острое лезвие, опускающееся на жемчужно-белую шею. Меня аж передернуло.

– Сколько мне осталось?

Я не думал, что она это спросит, но она спросила.

– Вообще-то это лечится. – сказал врач.

Она, казалось, удивилась.

– Лечится?

– Лечится, лечится, – подтвердил он сердито. – Мы с вами составим план лечения, я вам все объясню, распишу, и будем лечиться. И вылечимся. Понятно?

Она чуть заметно кивнула. Было не похоже, что она ему верит.

Врач раздраженно взглянул на меня в поисках поддержки. Очевидно, я должен был держать ее за руку и повторять, как ласковый, примерный муж: «Ну, держись, дорогая».

Ну-ну, держись, дорогая. Не унывай. Кстати, что у нас сегодня на ужин?

– Мы с вами обо всем договоримся, – повторил врач с нажимом.

– Договоримся? – повторила она.

Она только повторяла, что он говорил. Сама ничего не говорила. Это мне не нравилось.

– Мы распишем план лечения, все процедуры, мы сможем вас скоро записать, у нас нет такой большой очереди... – он снова начал говорить, а она замолчала.

В конце концов он замолк.

– Я вам все запишу. Может, вам лучше успокоиться вначале? А потом поговорим. У нас есть психолог, второй этаж. Последний кабинет налево.

– Как его фамилия? – спросил я. Надо же было что-то спросить.

Он с неудовольствием посмотрел на меня.

– Табуреткин. Валентин Михайлович. Последний кабинет налево, второй этаж.

Мне вдруг неудержимо захотелось засмеяться.

Врач уже что-то писал.

– Поговорите с ним. Потом подойдете ко мне. До трех, в три я заканчиваю прием. Удачи вам.

Мы вышли.

В коридоре она не взяла меня за руку. Она шла вперед, плавно, как во сне, не вертя головой по сторонам, ничего не замечая, ничему не кивая узнавательно. Она скользила, как привидение скользит по старому пустому замку, где красавица когда-то жила. Мы вышли из больницы.

Был прекрасный солнечный день. Она обернулась ко мне.

– Пойдем мороженое есть? Тут рядом есть кафе.

Лицо у нее было совершенно такое же, как всегда.

Я вам могу сказать, что по дороге в ад не бывает блокпостов.

Никто не проверяет у тебя документы и не штрафует за превышение скорости. Никто не выбегает на дорогу и не машет руками – а если даже выбегает и машет, ты переезжаешь их с холодным сердцем.

Дорога в ад – это даже не дорога, это как горка в аквапарке, по которой ты съезжаешь все ниже и ниже. Иногда упираешься и поднимаешься на пару метров вверх, чтобы выкарабкаться и уйти с этой чертовой горки, вода устремляется вниз, как будто специально – тебя тянет, ты цепляешься за края, но съезжаешь, съезжаешь все сильнее и сильнее, по полметру, по метру. И все. Так это и происходит.

Ну как ты, старик, нормально?

Как у тебя? Тебе уже лучше? Выглядишь вроде лучше.

Внутри они думают – как хорошо, что это не случилось со мной. Как хорошо, что это случилось с тобой, а не со мной.

Как хорошо, что я могу пожить еще немного и не беспокоиться. Для меня эти часы не включились. У меня впереди еще много счастливых часов.

А тебе... тебе Бог поможет.

Ну замечательно.

Я чувствую эту их радость. Что их пронесло. И это ставит непреодолимую стену между мной и ними, между нами и ними – теми, с кем это случилось, и теми, с кем нет. Потому что это случится со всеми. Это я понял четко. Уже позже понял, в автобус сидя.

Просто большинство не знают, что оно с ними случится. И когда. И хорошо, что не знают.

Вы заранее знаете, чем кончится эта история. Я ничего от вас не скрывал.

Не то чтобы я не думаю, что для вас в ней не будет ничего трагического. Но когда ты тонешь сам, это не совсем так, как смотреть, как тонет другой. Мне не стоит говорить про это – ничего хорошего в этом нет. Внутри у тебя открывается дверь, ведет она в черное, и ты уходишь в черное, не потому что хотел, а потому что дверь приоткрылась, и вот, ты заглянул туда, и вот там оказался, и вот уже не знаешь, как найти выход.

Я много времени провел в этом черном месте. До меня не сразу дошло, что рано или поздно все там оказываются. Я там до этого не был, и никто мне ничего такого не говорил. Вроде тех вещей, которым не учат в школе – как заполнять налоговую декларацию, надевать презерватив тем концом, которым нужно, и как быть, если оказался в черной комнате внутри себя, из которой нет выхода.

Многие так и не возвращаются из этой комнаты.

Многие возвращаются другими.

Я не знаю, но я так думаю. Я предполагаю.

– Ну и мысли у тебя, Константин, – промышчал коллега, когда я попытался сказать ему что-то в этом роде за бутылкой после работы. Бутылка меня особо не интересовала, а вот его интересовала очень даже. – Лучше на вот, выпей. Лучше будет.

Человек начинает пропадать, когда он еще виден. Когда его тело, его контуры, его слова, его лицо еще видны тем, кто его окружает. Но человек начинает пропадать уже тогда. Это очень легко заметить – даже психиатр не нужен.

53

Она с трудом ловила то, что происходило во внешнем мире. Ее тело слишком ограничивало ее, слишком слепило к внешним раздражителям. Что бы я ни говорил, ни приносил, ни делал – она улыбалась и кивала. Не отвечала, не задавала вопросов, не приставала со своей культурной программой, как раньше – я бы все отдал, чтобы приставала – а только улыбалась и кивала, как древняя бабушка на лавочке, которая протягивает сухонькую ручку и кладет ее на молодую голову, которая вся покрыта рыжими завитками. Как будто вода сомкнулась над ней, уже замкнулась, уже сомкнулась – и там, в этом ее мире под водой, было что-то важное, что ей одной надо было рассмотреть, подойти к нему поближе, вращающемуся в плотном водном потоке, сверкающему белым лбом, крутящемуся и отливающему синим и серым.

Она рассматривала это и рассматривала, улыбалась и качала головой, улыбалась и качала головой. Мне становилось по-настоящему страшно. Я не знал, о чем с ней говорить.

В конце концов я рассердился.

– Ты долго будешь так?

– Что – так?

– Так себя вести, – уточнил я раздраженно. На больных нельзя раздражаться. Их надо отогревать и поддерживать. На них нельзя злиться. Это мне где-то сказали. В больнице, наверное.

– А как я себя веду?

– Ну так. Как будто тебе больше всех все известно.

Она посмотрела на меня немного свысока.

– Мне и правда больше всех известно.

– И что тебе известно? – спросил я, обозлившись. – Что?

Она не ответила.

– Если не будешь лечиться, у тебя нет шансов, – сказал я сердито. – Если будешь пропускать процедуры, то...

Она посмотрела на меня с высокомерной жалостью.

– Я не пропускаю процедуры. И все лекарства принимаю. Только мне становится хуже. А ты, – продолжала она спокойно, – не хочешь это принять.

– Лена!!

Мое раздражение буквально в полсекунды превратилось в белую ярость. Мне даже глаза слепило. Я был в такой ярости, что в голове звенело, и я чуть было не вскочил и не бросился к ней и не вцепился ей в горло – так мне хотелось что-то сделать, чтобы она очнулась.

– Твою мать! – выговорил я отчетливо. – Конечно, что я не могу это принять! Как ты хочешь, чтобы я это принял?! Ты ни хрена не делаешь, чтобы выздороветь! Ты не хочешь выздоравливать! Ты целыми днями сидишь и палишься в одну точку! Или на

кровати валяешься! Придумываешь какую-то хрень про воображаемого ребенка, детская одежда в шкафу, бабки, сама себе мозги пудришь! И мне заодно!! Я должен принимать?! Я?!

– Я не валяюсь, – у нее был ледяной тон. – И никакие мозги... я не пудрю. У меня сил нет. Я хожу на процедуры, если ты хочешь знать...

– Да ты ходишь, потому что я тебя на них таскаю! Я тебя заставляю! Я что тебе, мать родная? Отец родной?

– Ты прекрасно знаешь, что у меня нет ни матери, ни от...

– Ты сдалась!! – я заорал так, что содрогнулась даже входная дверь. – Ты сдалась, мать твою, и я не понимаю, зачем!! Ты жить не хочешь! Хочешь, чтобы я это сказал?! Так я скажу! Ты жить не хочешь!! Ты сама себя записала в...

– Во что? – спросила она, когда я внезапно осекся. – Во что я себя записала? Как ты смеешь? – она стала подниматься из-за стола, скривилась и оперлась на него обеими руками. – Как ты смеешь так со мной разговаривать? Это тебе надо колоть гормоны? Это из тебя хлещет кровь?! Это из тебя все жилы вытаскивают?!

– А из меня жилы не...

– Я бо-ле-ю, – она выговорила это слово по слогам. – А ты мне еще смеешь говорить, что я что-то делаю не так? Да не смей!

Тяжело топая, она ушла в другую комнату и рванула за собой дверь.

54

Черт подери.

В голове у меня все еще гудело.

Я подождал и поскребся в дверь. Она не открыла, но я знал, что она там стоит.

– Не смей обвинять меня, – сказали из-за двери тихо и угрожающе.

Это был не ее голос. Если бы за ней и вправду толпой ходили покойники, я бы поверил, что это голос именно их. Не ее.

– Я что-нибудь с собой сделаю, понял? – сказал голос. – Если будешь меня обижать.

– Лена.

Она не отвечала.

– Не сделаешь.

– Сделаю.

– Не сделаешь.

– Сделаю.

– Не говори глупостей.

Из-за двери помолчали.

– А ты что мне только что говорил?

– Правду.

Я слышал, как она тяжело дышит.

Потом дыхание отдалилось – видимо, она отошла и села на кровать.

– Я желаю тебе никогда не проходить... через что-то подобное. Через такое... лечение.

Теперь это уже была она. Это был ее голос.

– Никогда. Это ужасно. Как будто... мое тело загрязняют чем-то. Как будто... меня нет. Хуже любого секса с болью. Хуже всего.

– Это закончится, – сказал я. – Я знаю. Я знаю. Так же, как то, что завтра пятница. Знаю. Понимаешь? Что оно закончится. Мы опять поедем путешествовать. То поле найдем. Я куплю тебе бублик! – добавил я во внезапном порыве вдохновения. – Все будет хорошо.

– Завтра не пятница, – сказала она. – И я не люблю бублики.

– Пятница-пятница.

– Боже, – из-за двери донесся легкий шум – как будто она легла на кровать. – Я так далеко ушла? Уже путаю дни недели.

– Ничего. – сказал я.

И повторил:

– Все будет хорошо.

– В любой болезни всегда оказываешься один, – сказал голос из-за двери. – То есть одна.

– Ты не одна.

– Тебя как будто заталкивает... глубже, что ли, в твоё тело, в самую его глубину, – продолжал голос. – И ты сидишь и смотришь оттуда. Как лягушка в аквариуме.

– Так ты выныривай! – сказал я. – Я-то не в аквариуме. Я здесь. Так что давай, давай, выныривай!

Молчание.

– Лена!

Я постучал в дверь. Она была закрыта.

– Если бы это было так просто, – сказала она сонно. – Если бы это было так просто.

55

Мне снилось, что ее закручивает в мясорубку. Сначала я вообще не мог понять, что происходит, – вращалось огромное железное колесо, много отверстий, из них сочилась кровь, белая кожа и мышцы засасывались туда и становились мясом. Я бросился и стал тянуть ее оттуда, но никак не мог поймать ее взгляд, посмотреть ей в глаза, спросить, как она там оказалась, а мясорубка все работала и работала. Она не кричала – или я не мог услышать ее крика? Ее тела в моих руках становилось все меньше и меньше. Как комочек теста, теплый и выпуклый, от которого отрывают, отрывают, отщипывают на пирожки. В конце концов не остается ничего.

Я проснулся и долго не мог понять, почему у меня под носом вместо кожи и крови только пыльный и стылый воздух нашей спальни.

У меня не было времени думать, что это означает.

Я ни черта не благородный герой, думал я, ожесточенно шагая на работу, с работы, в больницу. В то кафе я больше не заходил – женщина с ее пирожными «картошка» и ромовыми бабами, выстроенными в ряд, спрашивала у меня, как Леночка. Я не мог отвечать.

Я не благородный герой. Из дома в больницу, из больницы в дом, из дома на работу, как твоя жена, откуда у тебя синяк, мне в лоб влетела дверь, а почему голос сел, да

простудился, наверное, а откуда синяки такие под глазами, да наверное плохо сплю. Тогда может больничный возьмешь. Больничный. Больница. Болит.

Это все бред. Благородных героев не бывает.

Я не знал, как ее поддержать. Мне надо было поддерживать ее по-другому.

Надо было влезть в этот шалаш со сжимающими стенами и сидеть там внутри вместе с ней, подтянув коленки к груди. Надо было приходить с работы пораньше. Грустить лучше. Грустить вместе с ней. Надо было больше ждать, лучше ждать, не ждать совсем. Надо было больше верить. Надо было изыскать какие-нибудь другие способы, чтобы у нас получилось – как будто бывают другие способы. Надо было больше пытаться. Надо было забыть об этом. Надо было, надо было, думал я, перебирал, пока шел из больницы домой. Она заснула. Осталась в больнице. Завтра я ее заберу.

56

Она умерла во вторник. Вторник как день недели мне никогда не нравился.

Под конец она совсем отказывалась выходить из комнаты. Или лежала там целыми часами, дремала, или читала книжки, потом откидывала их в сторону, так, что они валялись у кровати стопками. Потом вдруг требовала отвести ее в парк и гулять там с ней – за ручку, как с маленькой. Я отводил, и гулял, и мы ходили минут пятнадцать, а потом она требовательно рассматривала листья и говорила:

– Осень. Осень!

Садилась на скамейку и долго-долго там сидела. Иногда часами. И отказывалась уходить.

– Ты не можешь со мной спорить, – сказала она мне упрямо. – Ну и пусть, что я замерзну. Я не хочу уходить.

И так и продолжала сидеть, до подбородка укутавшись в свое пальто и заплетя руки на груди.

Я сидел рядом с ней. Иногда прохаживался, потому что ноги затекали, но далеко не уходил.

Тогда я подумал, может, там и правда кто-то есть? Может, он и правда отмеряет, сколько нам осталось? Может, зря я в нем сомневаюсь? Может, раз я еще здесь, раз я буду здесь, а ее не будет, то я зачем-то нужен?

Я больше почувствовал это тогда, чем понял. И она тоже, казалось, поняла.

– У тебя все будет хорошо, – сказала она уверенно. – Ты хороший человек, поэтому у тебя все должно быть хорошо. Все еще может быть хорошо!

– Ты же понимаешь, что это не значит, что с тобой было плохо? – спросил я, взяв ее за руку. Пальцы у нее были шершавые и сухие.

– Понимаю, – отозвалась она тихо. – Просто... мне так хотелось иметь ребенка. Только почему-то... почему-то. Это должна была быть не я. Знать бы почему.

– Никто не знает, – сказал я.

– Он знает, – сказала она. И посмотрела на небо.

Я не стал спрашивать.

57

Моя мать рыдала так, что я даже испугался. А я ничего не боюсь. Это не метафора. Один раз я даже стаи собак не испугался, хотя они неслись прямо на меня по обледенелой дороге между заборами. Я просто за долю секунды решил, что делать, – бросил портфель, который сжимал в замерзших пальцах, и, тяжело оттолкнувшись, умудрился взобраться, кажется, на осинку, которая росла на обочине дороги.

Мне повезло – рядом с осинкой был забор, не очень высокий и не очень гладкий, и мне удалось поставить ногу, снова поставить ногу, оттуда перебраться на дерево, и все секунд за, наверное, десять.

Дерево качалось под моим весом. Я взобрался не очень высоко. Вспомнилась сцена из Маугли, когда тот бежит, обмазавшись чесноком, от стаи бешеных псов, и прыгает с обрыва, а до этого – сидит на дереве и дразнит их сверху, а они рычат, что все равно его убьют. Странные бывают детские сказки.

Собаки покрутились-покрутились. Мне было холодно и неудобно – они чуяли меня, я сидел не очень высоко и смотрел на них сверху вниз. Подпрыгни они, может, и могли бы меня достать.

Я опасался, что они не уйдут, и я замерзну. У меня был телефон, но он неудобно засунут в задний карман джинсов, и, чтобы вытащить, надо было извернуться и выпустить одной рукой ствол. А отпускать я не хотел.

В конце концов они убежали.

Но я не боялся их – я правда не боялся их. Я откуда-то знал, что со мной все будет в порядке.

Но когда мать рыдала – не рыдала даже, а выла, – я не знал, что делать. Когда я позвонил ей, в трубке раздался самый настоящий вой.

Когда я приехал, лицо у нее опухло так, что глаза были с трудом видны. Я неумело обнял ее – ее трясло, да так, что даже прижавшись, она не смогла унять дрожь.

– Ну, ну, ну, – сказал я неопределенно.

Она дрожала и некрасиво и громко рыдала, и рот у нее был похож на отверстие, похожее на то, куда в детских сказках шла печная заслонка. Слезы прочертили у нее на щеках две борозды, и катились вниз по подбородку.

– Не убивайся ты так, – сказал я.

Она икнула.

– Салат хочешь?

– Ког-да... когда... похороны? – спросила она, не отпуская мою спину в пуховике.

– В субботу.

– Так долго?

Я переступил с одной ноги на другую.

– Отпевать будут?

– Будут, – я мотнул головой.

– Понятно.

– Ты такой сильный у меня, – сказала она, когда я, наконец, закрыл входную дверь, содрал пуховик и ботинки и принялся резать салат. – Такой... такой...

Она всхлипнула и замолкла.

– Леночка была такая... ну... она... И ушла... так рано.

Салат она не ела, только брала вилку, заносила ее над тарелкой, водила в воздухе и потом клала обратно на место, так и не подцепив ломтик огурца.

– Не надо, чтобы уходили так рано. Неправильно это.

Она покачала головой и тыльной стороной вытерла щеку.

– Неправильно.

Я жевал огурцы и не чувствовал никакого вкуса. Чувствовал только вкус талой воды, и ее запах, как бывает ранней весной, когда сугробы еще лежат, но выходишь из подъезда и носом чуешь, как собака, как изменился ветер, и в нос тебе несет запах талой воды, и ты знаешь, что снег растает. Скоро растает снег.

Я чувствовал вкус талой воды у себя на языке. Жевал. Проглатывал. Запивал салат водой.

– Как думаешь, отец еще жив? – спросил я.

Она даже не удивилась.

– Жив. – сказала она.

– Откуда ты знаешь?

Она не ответила.

– Он что, звонил тебе? Просил денег?

Мать покачала головой.

– Он звонил... только один раз. Давно. Ты не женился еще.

– Чего хотел?

Она полузакрыла глаза.

– Сказал, что... – она выговорила это слово с видимым усилием. – благословляет нас.

– Благословляет?

– Он ушел в монастырь.

– Что-о-о?

Я подавился огурцом, который, как оказалось, все это время был у меня во рту, и долго кашлял.

– В монастырь?!

– Так он сказал.

Она пальцами взяла кусочек огурца, прикусила его, пожевала и, скривившись, проглотила, как будто раскусила горькую таблетку.

– Я просила его... позвонить тебе.

Он, конечно же, не позвонил. Посчитал, что молчание важнее слов. Молчание тянется над белоснежной равниной, где находится этот его монастырь, который тут же возник в моем воображении – полуразрушенное здание, посреди острова и с башенкой. Молчание тянется между ним и квартирой, заваленной ее вещами. Все так. Так и должно быть. Молчанием можно сказать куда больше, чем можно сказать словами. Это было очень в его стиле.

– Так и не позвонил, – вздохнула мать.

– Ага.

Я подумал, мог бы отец быть святым. Наверное, не мог. Даже если вглядываться в него близко – а никому не позволялось вглядываться в него слишком близко – он не походил на святого. На святошу, да, походил – мне как-то на уроке литературы тощая училка с подрагивающим носом объяснила, что это такое. Училка была до того тощая, что

при каждом слове в горе у нее что-то двигалось, и говорила она с усилием, как будто с трудом проталкивала слова.

– Что с вами? – спросила мышка с первой парты.

– Ничего. – отрезала та. – Не твое дело.

58

Когда я вернулся в квартиру после похорон, ее вещи потеряли запах.

Они висели в шкафу, ее чашка стояла в серванте, ее тапочки – под зеркалом, и это было так странно, как будто она куда-то ушла и скоро вернется. Я тупо уставился на них и на ее сумку, которая лежала тут же. Оттуда выглядывал край телефонного справочника – зачем она таскала с собой телефонный справочник? Ее серьги, которые она иногда носила. Ее губная помада, которую она аккуратно запихивала в сумочку-кошелек, когда мы уходили в театр.

Я даже и не знал, что замечал все это. Но, оказывается, замечал.

Я прошел в комнату и сел на диван, не раздеваясь. Я был не пьян – я сколько-то выпил, но голова не кружилась, живот не крутило, ноги-руки не дрожали.

Долго так сидел. Не знаю, сколько. Свет я по привычке зажег, но за окнами, за ее растениями, которые она старательно поливала каждый день – а сегодня не полила – собиралась темнота.

Я вдруг увидел, очень явно, как вишу посреди комнаты. Сначала мне показалось, что это какой-то другой парень, моего роста, моего сложения, даже волосы как у меня. А потом я увидел, что это я. Увидел свой серо-голубой свитер – она говорила: «Слишком выстиранный он, на локтях скоро дырки будут!». Но вещи ей не нравилось выбрасывать, поэтому от свитера она не избавлялась. Я висел спокойно, глядя вниз и слегка раскачиваясь – потолок тут невысокий, и до пола оставалось всего пара сантиметров. Я был в носках и джинсах, а на лицо мне не хотелось смотреть – мне было интересно, как была закреплена веревка и как она крепилась к крюку. Вся эта сцена показалась мне странно неуместной. Как фокус в цирке, когда ждешь, что распиленную женщину достанут обратно из ящика, но все равно нервничаешь – а вдруг не достанут? Вдруг реквизит не тот? Неправильно это было – тебя застали не за тем и спрашивают, что ты тут делаешь, и подозрительно спрашивают, ведь уже знают, уверены, что ты сделал что-то не то.

Как будто анестезия действовала – я смотрел на фигуру, рассматривал ее, кажется, даже кругом обошел и поднялся немного над ней – и ничего не чувствовал.

А потом вдруг картинка сменилась.

Мы шли вдвоем. Шли по степи, голой такой, похожей на то поле, только совсем лысой. Впереди ничего не было – только дальняя линия леса. Справа ничего не было, слева ничего не было – степь. Небо темно сизое, грозовое, но нестрашное – ветер, и никого нет.

Она шла справа. Я не поворачивался, но она шла справа.

– Да ладно тебе, – сказала она четко и насмешливо. Как говорила до того, как заболела. – Не разыгрывай драму.

Потом она еще что-то сказала, но я не расслышал. Я чувствовал ее рядом, и это меня успокаивало. Кажется, я держал ее за руку.

– Ты этого не сделаешь, – сказала она. – Не вздумай. Это тебе не запасной выход!

Мы шли и шли – шагали спокойно, я не знал куда.

– Степь, ничего нет, – она говорила легко и весело. – Но ничего и не надо.

Я собирался что-то спросить, но тут нога дернулась, и меня резко выдернуло оттуда.

Свет еще горел. Я лежал, почти сползши с дивана – верхняя половина, все еще в расстегнутом пуховике, была на нем, а задница и ноги сползли, и я удивился, как это я не грохнулся всем весом на пол. Где-то я читал, что если полностью расслабишься, травму не получишь, но черт его знает.

За окнами было темно, а подоконник в желтом свете казался очень грязным.

– Черт тебя дер, – сказал я.

Задрнул шторы и пошел за тряпкой.

59

После этого произошла странная вещь. Та же анестезия продолжала действовать, и я оказался как будто за стеной, за какой-то блокадой, когда закалывают обезболивающими, и боль вдруг исчезает.

Я открывал шкафы и смотрел на ее вещи – у них исчез запах, или я его не чувствовал. Я вообще не помнил, какой у нее был запах. Подушка не пахла ей, банное полотенце не пахло ей. Оно пахло чем угодно – хлоркой, мылом, немного йодом, йодовым раствором, которым я мазал порезанный палец – но не ей. Ее запах куда-то делся, ушел из этой квартиры, и поэтому я вынул все вещи из шкафов, выгреб все из кухни, из ванной, с вешалок, все сгреб – и сложил в большую кучу на балконе. Это немного напоминало ритуальную кучу, которую надо поджечь, и плясать вокруг с факелом. Балкон был узкий и завален всякой хозяйственной мелочевкой типа ведер, спинок от стульев, пустых цветочных горшков и моих ботинок «для дачи», которые имели вид настолько страшный, что она выселила их на балкон. Предпринял я попытку станцевать ритуальный танец на этом самом балконе, я бы свалился вниз, став причиной, как говорили в телевизоре, «целой череды человеческих трагедий».

Поэтому ритуальный танец я не станцевал, а просто сложил их там, закрыл балконную дверь и больше туда не совался, до тех пор, пока ко мне не постучал сосед снизу.

– Вы создаете пожарную опасность!

Майка на нем держалась еле-еле – съехала на сторону, и на груди были видны складки обвисшей стариковской кожи и серые жесткие волосы.

Я молча смотрел на него.

– Вы создаете пожарную опасность! Захламили весь балкон, завалили так, что в случае, если понадобится эвакуация, мы все сгорим!

– При том, сколько вы курите в день, вы раньше сгорите, – сказал я. – Даже пожара не понадобится.

Он собрался было что-то сказать, но я еще не закончил:

– И перестаньте кидать зажженные сигареты на мой балкон! Перестанете, и не будет никакой пожарной безопасности.

– Я ваш балкон не трогал!

– Ага, не трогали, – отозвался я. – Чего вы врете?

– Это я вру?

– Да, вы, чего вы врете? Кидаете каждый день.

– Да ты на балкон не выходишь, откуда ты знаешь!!

– А оттуда!! – заорал я. – Оттуда и знаю, что нечего мне кидать свои сигареты!!

В конце концов я чуть не спустил его с лестницы. Спустил бы, если бы не пуганая круглая бабка с этажа выше, которая прибежала и принялась верещать:

– Ой! Ой! Коленька! Да отпусти его! Коленька!! Нельзя же так! Да ты что!!!

Я не сразу сообразил, что Коленька – это я. Почему она думала, что меня так зовут, я понятия не имею.

– Психанутый, – проворчал сосед, возвращаясь в свою квартиру. Высаживать по две пачки этот идиот, понятно, так и не перестанет. – Дебил.

– Дебил, – выразительно отозвался я в его спину. – Еще кто тут дебил. Отстаньте! – прибавил я бабке, которая зачем-то повисла на моем локте. Еще будет всему подъезду рассказывать, что у меня «тяжелая рука».

Она резко отцепилась и посмотрела на меня преданно.

– Я знаю, как вам тяжело, – сказала она тонким голосом. – Если вам надо поговорить...

Глаза у нее были водянистые и светлые, а халат, эта жуткая штука, сделанная из того же материала, что коврики под дверь, был застегнут на молнию у нее на груди.

– Если вы захотите... поговорить, вы всегда можете... спуститься... вы всегда можете...

Вид у меня был, видимо, настолько ошалелый, что она отступила и чуть не упала с лестницы. Я придержал ее. Не хватало нам еще тут несчастных случаев.

– Спасибо, – сказал я. Прозвучало пусто, но я не знал, что еще сказать. – Спасибо.

60

С вещами в конце концов таки пришлось что-то делать.

Он продолжал кидать свои чертовы сигареты, и они могли вспыхнуть – даже сейчас, в эту мокроту и сырость.

Я понятия не имел, что делать. Закопать? Вывезти за город и сжечь? Бросить все в мусорку? Отдать кому-нибудь? Продать?

Бросить в мусорку я не мог – она бы сопротивлялась. Закопать посоветовала моя мать.

– Ни в коем случае никому не отдавай! – она даже вскрикнула. – Нельзя никому отдавать вещи умершего человека! И продавать тоже нельзя! Это принесет несчастье! Может даже принести... ну, что у нее было.

– Принести как? – спросил я.

И, когда она не ответила:

– В карманах, что ли?

Я почувствовал, как она улыбается – краем рта.

– Никому не раздавай ее вещи, – повторила она. – Личные оставь, остальные положи куда-нибудь.

– Я и положил. На балкон.

– На балкон? Они же там отсыреют!

– Ты же говорила никому не отдавать?

Она вздохнула в телефонной трубке.

– У Лидки спрошу, – сказала она в конце концов. – Она врач. Должна знать, как в таких случаях... поступают.

Лидкой звали ее лучшую подругу. Иногда она навещала нас дома – на лицо она выглядела лет на десять старше моей матери, хотя была ее ровесницей, – и почему-то называла меня «мальчиком», даже когда мне было двадцать пять. Возможно, просто не могла вспомнить, как меня зовут.

Мне не надо было спрашивать у матери, куда она дела отцовские вещи. Никуда. Часть из них до сих пор висела в гардеробе, аккуратно упакованная в чехлы.

Лидка сказала, что возьмет Ленины вещи для своей дочки. Я упаковал это все внутри коробки, оттащил на почту и отправил по указанному адресу. Она позвонила и долго благодарила. Особенно благодарила за комбинезон. Сказала, он совершенно новый – придется очень кстати.

61

Иногда мне кажется, что эта история пронеслась как-то подозрительно быстро. Слишком быстро. Я никогда не считал, сколько лет мы были вместе. Никогда не отмечал годовщины. Дарил ей цветы, конечно, когда она просила, но время не считал.

Зато она все помнила. И тот день, когда мы познакомились – увидели друг друга в кафе, и тот, когда пошли на первое свидание, и годовщину свадьбы. Мне, чтобы вспомнить точную дату, надо было посмотреть в свидетельство о браке. И то, когда я смотрел в него, я видел дату только с третьей попытки. Она смеялась.

– Какой ты забывчивый!

Это правда. Пять лет вместе или пятнадцать – какая разница?

У меня, правда, есть кое-что. Есть этот день. Этот автобус. Она дала мне жизнь – в руку, дала время – в руку. У меня все никак не получалось его удержать, ухватиться за него как следует. Она мне сказала – живи. И я стал жить. Мне не остается ничего другого, как жить. Так же?

62

В конце концов я все-таки пошел.

У всех памятники были черные, а у нее белый. Я сделал белый, хотя все уговаривали сделать черный. Что, чтобы ее контуры проступали с черного цвета, как герб Бэтмена?

Фото она сама выбирала. Она ненавидела фотографироваться. В этом я был с ней согласен – как бы ее ни фотографировали, с какого бы ракурса ни подходили, она так стеснялась камеры, что всегда делала попытку спрятаться, и получалась как белка, которая задней частью стремится вернуться в свое дупло, а передней испугалась. Я смеялся над ней, а потом понял, что она обижается, и старался не смеяться.

Даже на свадьбу она отказалась нанимать фотографа.

– Не могу я расслабиться, когда меня фотографируют! – сказала она жалобно. – Лучше уж без. В загсе щелкнут, да и ладно.

Я пожал плечами. Мне было все равно – пересматривать фотографии я не собирался. Зеркало и так давало мне понять, как я выгляжу. И довольно доходчиво.

Даже сейчас я их не пересматриваю. Я помню, как она выглядела – в белой меховой пелерине, надетой на плечи, и гладком шелковом платье, в котором внезапно я ее не узнал. Полсекунды я смотрел на нее и думал, что это кто-то другой. Другая.

Она тогда приблизилась ко мне и сказала:

– Ты странно смотришь.

На что я набрал в грудь воздуха, чтобы сказать, что она очень красивая. Вместо этого я сказал:

– Да.

Она засмеялась и взяла меня под руку.

– Да! – и улыбнулась. – Ну что? Пошли?

На фотографии она была куда моложе. Я даже и не знал ее такой – я почти не знал ее такой, только иногда в ее лице мелькало что-то от этой, двадцатипятилетней. Но тем не менее это была она. Это была она, это всегда была она – тут, там, везде.

Белый цвет, и ее лицо, смотревшее с задумчивой гордостью той, у которой столько всего получилось и столько всего получится еще. Она смотрела на меня спокойно, как почти никогда не смотрела при жизни, гордо и безмятежно.

Я без труда нашел ее. Остановился.

– Привет, – сказал я.

Кто-то стащил розы, которые я принес в прошлый раз. Надо было их подрезать, иначе сразу же, когда моя спина скрывалась за калиткой, кто-то подлетал и забирал их на перепродажу.

– Ты как, – сказал я.

Вокруг было тихо. Будний день.

– Мда.

Я положил цветы под ее портретом.

– Ну... я понятия не имею, что еще сказать.

Она все еще смотрела на меня.

– Не сердись, – сказал я. – Надеюсь, ты на меня не сердишься.

Наверное, надо было сесть на скамейку и завести длинный разговор обо всем, что произошло в ее отсутствие. Но это никогда не было в нашем стиле.

– Не отвлекайся, – бывало, говорила она со своей привычной бухгалтерской торопливостью. – Нашел время разговоры разговаривать! Не отвлекайся!

Не то чтобы я был специалистом по разговорам.

– Кстати, во сне я тебя не вижу, – добавил я зачем-то. – Ну... кроме того, первого раза.

Она смотрела на меня снисходительно.

– Хотя ты знаешь – я всегда сплю как убитый, – зачем-то добавил я.

Пока я шел обратно, я заметил, что почему-то со многих памятников люди смотрят очень строго – начинаешь сомневаться, что это вообще люди, а не укоряющие призраки прошлого. Старухи в платках, завязанных на подбородке, пожилые грузные мужчины, которые провожают тебя взглядом, когда ты проходишь мимо. Да, Юрий Алексеевич, я еще жив! Можете себе представить?

Казалось, Юрию Алексеевичу этот факт был не по душе.

63

На ее месте должен был быть я. Я подумал это без всякого особенного выражения. Я не думал это с горечью, не думал это с болью. Я думал это с простой, неопровержимой отстраненностью. Констатацией факта.

Мне было все равно, а ей хотелось. Хотелось до такой степени, что это желание в конце концов выжгло ее изнутри. Я не видел, как у нее изнутри, но не сомневался, что выжгло.

Это я должен был быть – обычная жизнь. Обычная история. Может, в обычность моей жизни входило и то, что она была не короткая? Обычной, средней продолжительности. А может, даже и больше. Если повезет.

Мой отец – в новом черном одеянии – сказал бы, что каждому дается по вере его, по силе его. Он любил сказать что-нибудь такое, мой отец. Еще и руку бы простер, чтобы убедительнее было.

Я вдруг представил, как он сосредотачивается и наклоняется над какой-то книгой – тяжелой, тисненной золотом, с крупными буквами, бегущими по грязным страницам. Я вдруг подумал об этом его спортивном костюме, в котором он был физруком в той школе, где говорил, что дети чистые и еще не понимают, как их испортит общество, – что-то в этом роде он говорил и нам, я не мог понять, не мог вспомнить. Я вдруг подумал, сколько усилий у него ушло, чтобы нас забыть. Я представил его сосредоточенное лицо – он и Лена никогда не видели друг друга, но мне почему-то казалось, что сейчас видят.

Мы ни разу не ходили с ним в церковь – он не брал меня с собой. Церковь была для него, а не для меня, она была как любовница, куда он уходил от нас, и мы там ему были совершенно не нужны.

У него сосредоточенное лицо, и он идет к чему-то, чего я никогда не видел, – а теперь вот увидел, кажется. Я смог четче разглядеть то, к чему он ушел. Если бы я был на месте Лены, различил бы еще более четко.

64

Мне кажется, она ушла, потому что хотела. Это звучит жестоко, но она ушла, потому что хотела. Я не сердился на нее – я понял, почему. Несложно было понять.

Дорогая. У нас столько всего могло бы быть, я бы все хотел тебе дать, дорогая. Я просто не знал, как перемахнуть через эту стену, – поверишь ли, я не знал. Я бы хотел прочитать какое-нибудь письмо, где бы рассказали, как надо говорить, чтобы ты поняла. Я стараюсь не говорить. Я не должен говорить, даже в своей голове. Что-то внутри, какой-то голос говорит мне, что я не должен говорить с тобой. Но я бы так хотел сказать это, чтобы ты поняла.

Я бы хотел сказать, что зря тебя нет – совершенно зря, мы еще много чего могли бы сделать вместе. Еще раз поехать в то поле. Найти его, даже если я не знаю, какое поле это было, – мы бы обвели черной ручкой место на карте и искали там, как ищут пропавших людей. Еще раз посмотреть на линию горизонта, где небо сливается с землей. Еще раз пересчитать позвонки на твоей спине, проводя по ней ладонью. Еще раз зайти в высокую траву и спрятаться в ней, и усесться прямо там, и идти сквозь, пока дождь не начался. Не терять машину из виду – она на краю поля, на краю дороги, на краю земли. Она точно не свалится с края – правда же? Не свалится. А ты вот свалилась. Бывает же.

Она споткнулась в траве, вскрикнула, чуть не полетела, но вовремя, выпрямившись, удержалась.

– Ха! Цепляется! – закричала, оборачиваясь ко мне. – Не хочет отпускать.

Я не хотел отпускать. Даже когда я чувствовал, что ты уйдешь, что ты должна уйти, вот в этом всемирном распорядке, который всех распределяет по полкам и клеточкам, все предусмотрено так, я не хотел отпускать. Я ни разу не сказал тебе этого. И уже не скажу. Вот бы прочитать чье-нибудь письмо, где это будет красиво сказано. Автор будет разматывать, строчку за строчкой, строчку за строчкой, свою печаль. Растирать, как пальцем трут тушь и чернила, и трогают краски на еще мокрой поверхности, а потом начинает пищать сигнализация, потому что картины в музее трогать нельзя. О какой же дребедени я думаю.

Письмо. Книга. Слова. Нужны, но не подбираются нужные слова. Начинается дождь, и я вижу, как струи бьют в запотевшие автобусные стекла. Я вижу, как проносятся мимо улицы, как слова, которые я мог бы сказать, или хотя бы прочитать со страницы, проносятся мимо. Я вижу, как отец прищуривается, отворачиваясь от меня от и усмехаясь. Кажется, я сказал что-то, что его насмешило, но он не хочет говорить.

– Потом скажу.

Его костюм болтается в шкафу, материны платья теснятся от него все дальше и дальше, как от кавалера, который пришел на вечеринку один и никого не приглашает. И пахнет от него как-то не так.

Я помню все – солнце в лугах, она пробирается сквозь огромные стебли, он закрывает дверь и кладет ключ не в карман, а под коврик, моя мать поднимает голову от кухонного стола, и у нее не волосы, а космы по обеим сторонам лица, и подушку, непримятую, а чистую и гладкую, аккуратно лежащую в изголовье кровати. И струи, которые несутся по стеклу автобуса, и дождь, который барабанит в крышу, и мокрую землю по обе стороны каменной дорожки.

Привет тебе.

Париж, ноябрь 2024 – февраль 2025